



Фридрих
Шлейермахер

НЕЧАЯННЫЕ МЫСЛИ О ДУХЕ НЕМЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
КАНОН-ПЛЮС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

**ФРИДРИХ ДАНИЕЛЬ ЭРНСТ
ШЛЕЙЕРМАХЕР**

**НЕЧАЯННЫЕ МЫСЛИ
О ДУХЕ
НЕМЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ**

(с приложением об одном из них –
недавно учрежденном)

**Написано в 1808 г.
Впервые опубликовано в 1808 г.**

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КАН  Н-ПЛЮС»
2018

УДК1/14
ББК 87.3
Ш68

Рекомендовано к печати Ученым советом
Института философии РАН

Научные рецензенты:

к.ф.н., научный сотрудник
Института философии РАН *А.С. Цыганков*,
д.ф.н., профессор философского факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова *К.Х. Момджян*

Научный редактор к.полит.н., с.н.с. Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН *Р.Э. Бараш*

Шлейермахер Фридрих

Ш68 Нечаянные мысли о духе немецких университетов
(с приложением об одном из них – недавно учрежденном) /
пер. с нем. и вступ. статья д.ф.н. А.Ю. Антоновского. – М.:
Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018. – 208 с.

ISBN 978-5-88373-521-8

В своей работе Ф. Шлейермахер формулирует идею и концепцию нового немецкого университета, предлагает формы адаптации и трансформации университета как одной из средневековых цеховых корпораций к новым политическим условиям общества модерна, потребностям централизованного прусского государства. Данный проект имел непосредственное отношение к внешнеполитическим амбициям Пруссии, существенно поколебленным Наполеоновскими войнами в том, что касается территориальной экспансии, но сделавшим тем более актуальным «экспансию» немецкого духа в области культуры, образования и науки. Центральным методом его реализации выступает идея «герменевтического круга».

ББК 87.3

Охраняется законодательством об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается, в том числе и в Интернете, без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения законодательства будут преследоваться в судебном порядке.

ISBN 978-5-88373-521-8

© Пер. Антоновский А.Ю., 2018

© Издательство «Канон+»

РООИ «Реабилитация»,

оригинал-макет, оформление, 2018

Антоновский А.Ю.

**ФРИДРИХ ШЛЕЙЕРМАХЕР
И СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ¹**

**1. От сведений к знаниям:
к вопросу о прикладной герменевтике**

Книга «Идея немецкого университета», появившаяся в 1808 г., была написана в особую историческую эпоху – период Наполеоновских войн, ликвидации Священной римской империи и создания Рейнского союза немецких государств, достигших к этому году своего наибольшего расцвета пусть и под патронажем Наполеоновской Франции. Французская оккупация еще сильнее обострила вопрос консолидации немецких земель, объединяемых отныне не произвольно проводимыми границами, диктуемыми реальным соотношением сил и аппетитами серьезных игроков, а получающих некоторую культурную основу – языковую общность.

¹ Статья написана при поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 14-1802227 «Социальная философия науки. Российская перспектива».

Новые формы государственности влекут за собой трансформацию иных институтов, и прежде всего научных и образовательных учреждений, что ставит проблеме их отношений к новообразовавшимся государственным структурам, вопросы степени их автономии и средств достижения и утверждения такой автономии.

Этот вопрос позднее принимает вид дилеммы *экстернализма/интернализма*, а у Шлейермахера имеет форму более конкретной проблемы отношения академии наук и университетов, с одной стороны, и их реакции на потребности государственного управления и государственного строительства, осуществления, как бы мы сказали теперь, информационного контроля над обществом, с другой.

Должен ли этот национально-консолидирующий культурно-языковой контекст научных исследований сказываться на структуре науки, определять выбор научных тематик, квалификационные стандарты отбора ученых и студентов, требовать контроля над академическими организациями или же наука должна представлять собой автономное образование, самостоятельно определять свои цели, социальный состав и структуру? И применительно к этим проблемам Шлейермахер обращается к разработанному им герменевтическому методу текстовой интерпретации.

Интерес Шлейермахера к теории интерпретации, и шире – к герменевтически понимаемым проблемам

культурно-языковых контекстов далеко не случаен. Здесь сказываются и погруженность автора в протестантскую библейскую экзегетику, и его происхождение из семьи протестантского священника, а также первое образование, полученное им у Моравских братьев, в одной из пиетистских сект, и не в последнюю очередь его работа над переводами платоновских диалогов, которые и по сей день считаются образцовыми переводами древних текстов.

Итак, протестантское религиозное воспитание, где интерпретация религиозных текстов является фундаментальной для формирования личного религиозного опыта, а также личностно воспринимаемые проблемы и трудности становления немецкой государства, убежденность в ключевой роли немецкого языка как хребта немецкой государственности и, наконец, личный переводческий опыт и осознание необходимости поиска каузальных детерминаций не только в области естественных наук, но и в науках о человеке, о его языке и морали² – все это и образует тот фон, на кото-

² В противовес Канту, разводившему возможную лишь в трансцендентном и ноуменальном мире мораль, и свободу, и необходимый, а следовательно, не оставляющий свободного выбора характер мира вещей для нас, Шлейермахер создал концепцию, сопрягающую возможность морали и каузальных связей. Применительно к науке это означало одно – науки естественно-математические и науки гуманитарные не могут быть разведены по разным мирам, а обращены к общему предмету – миру, включающему как человека с его моралью и свободной волей, так и каузальные детерминации в законах природы.

ром начинается формирование новой гуманитарной дисциплины – философской герменевтики, науки о контекстуальной определенности всякого понимания и интерпретации текстов, и даже шире – всей человеческой деятельности.

Этот многообразный биографически, исторически и религиозно определенный контекст трудов мыслителя, конечно же, не являлся его личной особенностью, но представлял собой доминирующее и очень широкое умонастроение, которое известно нам под именем немецкого романтизма. Шлейермахер всей своей жизнью и трудами воплощал «романтическую аксиому», которая получает у него научно-филологическое выражение. Смысл этой «аксиомы» – в дополнении концепции «общего духа» нации Монтескье, Руссо и других представителей французского Просвещения концепцией «божественной идеи человечества», суть которой состоит в таком понимании равноценности наций, народов и лежащих в ее основе языков, которая бы вытекала не столько из всеобщности человеческой природы, сколько из «многообразия форм выражения идеи бесконечного творения Богом человечества»³. Речь шла о «возвращении» национальной самобытности

³ О Шлейермахере и «романтической аксиоме» см.: Хюбнер К. *Нация* / пер. с нем. А.Ю. Антоновского. М.: Канон+ Реабилитация, 2001.

и богатства конкретного языка, утерянной в абстрактности идеи Просвещения. При этом именно нация с ее конкретным языком полагалась единственно возможным конкретным воплощением любой универсальной или абсолютной идеи, тогда как «универсальное человечество» и «универсальный язык» полагались лишенными какой бы то ни было «чувственной» реальности.

Эта идея наиболее отчетливо была озвучена Фихте в его концепции языка как природной силы, как средства восприятия нацией конкретных условий ее жизни (читателю судить, насколько это похоже на тезис Сепира и Уорфа). И поскольку условия существования разных народов значительно различаются в пространстве и времени, то и вопрос об «универсальном языке» (*lingua generalis* в смысле Лейбница) или об общем протоязыке теряет всякий смысл.

В своей философии языка, в особенности в «Лекциях по психологии», Шлейермахер выдвигает в сущности социоэпистемический тезис о социальной природе языка (и, как следствие, – мышления, поскольку последнее, по его мнению, является фактически идентичным его лингвистическим выражениям).

Смысл лингвистических выражений, как позднее у Л. Витгенштейна, может определяться через «употребление» слов, в особенности через социально-детерминированные правила употребления слов и

предложений. Эти представления о языке базируются на его диалектике целого и части (как философского обоснования герменевтики), где именно целое определяет смысл своих составляющих. В этом смысле философию языка Шлейермахера можно было бы охарактеризовать как «семантический холизм», где каждое слово входит в некоторое множество членов языковой «семьи» (целое), где каждый член представляет тот или иной его способ употребления. Всякая комплексная семантическая единица в свою очередь входит и определяется некоторым большим целым. Идентичный подход несколько раньше разрабатывается и близким другом мыслителя немецким романтиком Шлегелем, и тотчас подхватывается В. фон Гумбольдтом.

Эта диалектика целого и части, с одной стороны, применяется им в качестве метода к конкретным проблемам взаимоотношения науки, образования и государства, а также – к вытекающим из них проблемам внутренних демаркаций между гуманитарным и естественно-научным знанием, а с другой – была положена в основание герменевтического метода анализа текстов, который можно понимать в самом широком смысле.

Герменевтика понималась мыслителем как универсальная наука, призванная обеспечить понимание повседневной речи, научных, религиозных и священ-

ных текстов, законов и иных нормативных установлений, текстов на иностранных языках. Все тексты могут быть отнесены к самым разным контекстам, т.е. некоторым типам целостности, в которые бы они входили как ее части.

Среди этих контекстов мыслитель выделяет два основных – собственно лингвистический, о котором шла речь выше, и психологический. Если первый тип интеграции требующего осмысления высказывания в некоторое целое относительно непроблематичен и речь фактически идет об «объективно заданном» и всем известном множестве словоупотреблений, регулируемых теми или иными нормами и правилами, скажем, грамматическими и синтаксическими, то психологический контекст создает проблему для понимания.

Причина этого, по мнению Шлейермахера, прежде всего, кроется в чрезвычайном разнообразии психических задатков, в различиях в «интеллектуальной мощи» высказывающихся. Другими словами, лингвистическое понимание покоится на общем и универсальном, психологическое же понимание – на чем-то индивидуальном и своеобразном.

Факт выбора того или иного словоупотребления является очевидным, однако далеко не очевидным оказываются психически обусловленные причины выбора именно этого словоупотребления. Если мне говорят:

«Это пища не вкусная и немного подгорела», – помимо прозрачного грамматического смысла задействованных слов, мне нужно понять и психологическую мотивацию произнесенного высказывания (предостережение, сочувствие, жадность и т.д.), т.е. то, что в современной философии языка называют «иллюкативной силой».

Понять что-то – означает реконструировать такую инкорпорированность высказываний в иерархии многообразных контекстов методом «дивинации» (от фр. *deviner* – *предполагать, догадываться*), который, как видно из этимологии, не предполагает достижения подлинного понимания, а всегда сохраняет статус проблематичной интерпретации. Фрагмент текста может быть понят только в контексте целого произведения, а само произведение – в контексте всех созданных данным автором трудов, которые в свою очередь определяются спецификой жанра или стиля, психологическими особенностями их создателя, в свою очередь определяемого его личной историей – авторской биографией – и более широким историческим контекстом. Поняв часть текста из него самого, где обнаружить смысл нам помогают лингвистический контекст, грамматические правила и универсально принятые стандарты словоупотребления и смыслы, мы, продолжая чтение и расширяя контекстуальные перспективы, впо-

следствии возвращаемся к этой части, переинтерпретируя первоначально возникший смысл, исходя из приобретенных знаний, таким образом, замыкая знаменитый «герменевтический круг».

Все эти общие и с современной точки зрения уже несколько тривиальные положения приобретают интерес в рамках того, что мы можем условно назвать *прикладной герменевтикой* с ее особенным интересом к самим институтам, которые тоже можно рассматривать как квазитексты, как объекты приложения герменевтического метода.

В данной книге речь идет о трех проблемных комплексах, которые мы можем подразделить на следующие:

1. О том, должна ли (и если да, в какой степени) наука подвергаться «огосударствлению» и соответственно каковы вообще отношения академической науки и государства.

2. О дифференциации научного знания на гуманитарное и естественнонаучное и об основаниях такой дифференциации, и значит, о границах науки.

3. Об оправданности создания подразделения философии в рамках структуры академии.

Фундаментальным различием, на основании которого можно судить и о различиях в деятельности таких глобальных форм, как наука и государство,

является оппозиция *сведения/знания*. Сведения суть относительно произвольные классификации, необходимые для систематизации управления дифференцированным обществом, для осуществления функций государственного управления. Именно государство, словно ощущая дефицит собственных способностей в квалифицированной переработке информации, пытается наделить этой функцией некую когорту профессионалов и здесь-то обращает внимание на научные учреждения, пытаясь вобрать их в себя и заорганизовать, направив их активность на переработку государственно-необходимых данных.

Наука же, напротив, стремится к автономии, – во многом потому, что работает не со сведениями, но конвертирует их в знания. Наука именно потому стремится к автономии, что, создавая свой собственный «внутренний» продукт, т.е. знания, она способна выйти за собственные границы – обратиться к реальности самой по себе, идет ли речь о природе как таковой или человеческой природе. Наука, если пользоваться более современным языком, является институтом, развивающимся интерналистски, именно потому, что сама по себе она не нуждается в наличии какого-то внешнего управления, внешних – институционально-коммуникативных – ориентиров своей деятельности, поскольку сама природа и истина являются таковыми ориентирами.

При этом ее институциональная замкнутость, как показано ниже, определяется двумя факторами – едиными стандартами университетского образования и ее «созерцательностью», т.е. чувственным (а не языковым) характером удостоверения ее положений.

Сведения же в отличие от знаний создаются и комбинируются произвольно самой государственно-ангажированной наукой ради внешних для нее государственных нужд. Под ними, видимо, нужно понимать простой бюрократический учет и контроль, фискальные функции, знакомство с иерархическими компетенциями чиновников, распределение разного рода иерархических, сословных и иных привилегий, дипломатические навыки и иные организационные умения.

В целом эту работу можно назвать манифестом свободной науки и свободного образования, требующим освобождения науки и университетов от опеки государства. Шлейермахер стремится развеять миф о том, что науке не хватает деятельностной способности; о том, что наука будто руководствуется и вдохновляется одной лишь чистой любознательностью и лишь государственный надзор делает возможным ее полезное применение. Различение *любопытность/деятельность* полагается Шлейермахером неприменимым для демаркации науки и государства.

Однако реальная ситуация далека от идеальной, и дело даже не в неправомерной чиновничьей экспансии в неподведомственную им научную сферу, а в самой «языковой» природе науки. Именно «язык» науки – вспомним здесь «романтическую аксиому» – нерушимо связывает ее с тем или иным наличным государством. Шлейермахер ставит проблему языка, а точнее, проблему языковых границ как основания для внутренней демаркации наук по линии наука – государства. Выясняется, что гуманитарные науки действительно вынуждены замыкаться в рамках государственных границ, поскольку возможны лишь в рамках некоторого единого языка, и, соответственно, их достижения не могут быть переведены на иностранные языки без существенной потери их содержания.

Поэтому-то они гораздо легче ангажируются государством, в то время как науки естественные, напротив, – ускользают из-под государственного контроля, поскольку их результаты слабо связаны с языковыми, а значит, государственными границами, и допускают чувственное («созерцательное») удостоверение в любой точке земного шара.

Здесь ученый-гуманитарий вынужден мыслить свою науку экстерналистски. Собственно, и сам Шлейермахер, являясь гуманитарием, задает превосходный образец экстерналистской рефлексии науки. Так, ре-

флексия ученого выходит за пределы своей узкой области и обращает свой взор на внешние реалии науки и внешние условия ее существования, и прежде всего на государственную раздробленность, свойственную немецким государственным образованиям в начале XIX ст., и как следствие, раздробленность самой науки. Отсюда проистекает и основная мотивация этой рефлексии: поиск некоторого единства, некоторой целостности, т.е. того, что могло бы явиться – герменевтически реконструируемым – контекстом научной деятельности, и организационным основанием для упорядочивания науки. Пока это единство видится Шлейермахеру в такой институциализации науки, которая свою наглядность получила бы в учреждении единой академии, которая бы обеспечила единство научной деятельности, или, словами мыслителя, «коллективность авторства научного труда».

Эта «коллективность авторства» проявляется в том, что наука образует некоторую целостность, широкий контекст для работы конкретного исследователя уже в силу специфичности самой научной деятельности и научного продукта, состоящего не в отдельном труде ученого, а в «общем труде» поколений над тем или иным предметом.

И здесь возникает парадокс. Чтобы каждая ветвь знания могла быть сконцентрирована вокруг ее собственного предмета, чтобы наука, следовательно, по-

лучила внутреннюю предметно-определенную дифференциацию, требуется обособление *всей* науки от всего остального общества, т.е. объединение всех ученых под эгидой чего-то общего, их объединяющего. Для обособления *знания* от всех остальных *сведений* одновременно требуется и универсализация всех отраслей знания.

Но что же обеспечивает такое обособление внутренне-дифференцированной науки и универсализацию всех ее самых разнообразных предметов? На этот вопрос у Шлейермахера есть как минимум два ответа: эмпирический и теоретический.

Первый указывает на специфическую научную организацию – *университет*, наличие которого в схеме Шлейермахера поначалу выглядит избыточным. Ведь и вправду, зачем нужны университеты, если функции исследований (получение знаний) и функции образования (получение сведений) полностью распределены соответственно между академиями и школами?

Тут-то и всплывает потребность придания науке искомого единства. Функция университетского образования как раз и состоит в обеспечении *общезначимости* научной точки зрения. Именно благодаря университету ученые всех академий мира обладают «единым основанием суждения». Ведь чтобы отсеивать ложное и тривиальное, академия должна *уже* обладать некоторыми принципами отклонения ложного,

ненаучного или неинтересного науке знания. Говоря современным языком, в университетах должны не насаждать знание, а учить, скорее, работе со знаниями. Лишь научившись работать со знанием, отсеивать его от сведений (т.е. от информации, необходимой внешним для науки институтам), можно в академиях приступать к подлинной исследовательской работе.

Теоретический же ответ на вопрос о единстве научной деятельности связан с редукцией к более глубинному ее основанию – *созерцанию* реальности, в его противоположности государственно-ангажированному *действию*.

Другими словами, в основании оппозиции *знания/сведения* лежит более глубокая дифференция *созерцание/действие*, где под созерцанием следует понимать, скорее, чувственное познание, делающее возможным удостоверение любого знания безотносительно к его языковой, пространственно-временной, национально-государственной или любой другой контекстуальности.

У *действия* же, видимо, не обнаруживается такого критерия убедительности, каковым обладает созерцательно удостоверимое знание.

Но такое «онтическое» разделение двух типов активностей, характерных для ученого и государственного деятеля, все-таки не делает непреодолимой границу между ними, хотя движение осуществляется,

скорее, в одну сторону: «Ведь об этом говорят испокон веков, но и испокон веков эти молодые люди, учась у мудрых учителей, из школ устремлялись непосредственно в залы судов и управляющие палаты для оказания помощи во властных делах. *Созерцание и действие*, если они и противоречат друг другу, все-таки неизменно действуют рука об руку; отношение между теми, кто посвящает себя чистой науке, и всеми остальными определяет сама природа, неизменно правильно и соразмерно», – пишет Шлейермахер.

Это различие подразумевает глубинную идею дифференции между переживанием, деятельностью сознания, с одной стороны, и действием или деятельностной активностью, организационным началом, с другой.

Это различие на уровне элементарном определяет, как бы сказали теперь, макроструктуры – структуру академических и государственных организаций. Собственно, эта задача является во многом основной для социальных теоретиков – объяснить институты, такие как наука, образование, государство, через функционирование их элементарных составляющих, таких как действие, переживание, ожидание, нормы и ценности.

При этом замыкание герменевтического круга получает здесь «образовательное» (конструктивистское!) звучание: наука «образовывает» человека, в свою очередь «образующего» науку. Конечно, эта взаим-

ность этих двух контекстов «образования» в каком-то смысле базируется на двух значениях этого слова, или как пишет Шлейермахер, «наука, в том виде, как она наличествует – как общее дело и владение – в целом множестве образованных народов, должна дать образование конкретному человеку, конкретному же человеку – в его собственной части – в свою очередь надлежит содействовать дальнейшему образованию науки».

Средством такого «образования» науки является университет, который Шлейермахер понимает как институциональное средство, обеспечивающее единство и целостность, т.е. герменевтически понимаемый контекст научной деятельности, что для академий оказывается чем-то *уже* данным, и следовательно, не требует специального внимания.

Уже ранее гарантированная университетом целостность знания, делает свой диалектический вывод Шлейермахер, только и дает возможность детального и конкретного изучения природы, осуществляемого академической наукой, обеспечивает ее внутреннее замыкание вокруг собственного предмета изучения: «На это указывает и его (университета) собственное название, ибо именно здесь собираются не просто многие – пусть разнообразные и более высокие – сведения, но должна быть представлена *целостность* познания благодаря тому, что принципы и равным

образом структура *всякого* знания наглядно представлялись бы таким способом, чтобы из этого возникала способность обращать свои усилия во всякую область знания».

Фактически же здесь выражен лозунг Болонской системы – давать не образование, а формировать компетенции, т.е. формировать лишь умения, делающие возможным получение дальнейшего образования. В университете важно не овладеть знаниями (сведениями), а *научиться* ими овладевать, причем на примере любого типа знания, ведь в *любой* отрасли познания проявляются свойства целого. Ведь, по мысли Шлейермахера, «именно этим объясняется то короткое время, которое каждый затрачивает на университет в сравнении со школой; речь не о том, что для изучения не всего, а части требуется меньше времени, а о том, что научиться учиться – можно быстрее».

Конечно, все это – следы модернизации, нового временного сознания, когда «новое» получает легитимацию безотносительно к его содержанию. Ведь временные определения знания как нового, как правило, даются скорее негативно – определяются тем обстоятельством, что они не являются тем, что имело место прежде. Поэтому-то в университете важно не получить знания, а научиться учиться – саморефернциальный процесс, который, очевидно, приводит к утере строгой определенности предмета обучения,

при том что теперь любой вид знания может быть взят в качестве образца для экспликации паттернов обучения обучению.

Итак, функция университетов – обеспечить взаимосогласованность научной деятельности и утвердить принципы согласия ученых. С герменевтической точки зрения, университет, таким образом, оказывается определенным двумя контекстами или целостностями, в которые он одновременно интегрирован как их часть: университет трактуется как временная граница между образованием и наукой, как институт связывания сведений и знаний, как то, благодаря чему сведения превращаются в знания за счет их научной переработки. Университеты придают знанию и познанию общезначимый и *универсальный* (отсюда – «университет») характер, так что в любом знании проявляются общие свойства, независимые от его дисциплинарной принадлежности, что и отличает знания от «сведений». Но в чем тогда состоят функции школы?

Школы же занимаются исключительно сведениями, а не знанием, – учат тому, что и так давно известно (конечно, с точки зрения наблюдателя второго порядка – университета).

В этом смысле неудивительно и то, что «связь знания», т.е. связь школы, университета и академической науки, является для Шлейермахера всего лишь «внешней», т.е. формальной и поверхностной. В виде

такой внешней связи для этих функционально различных институтов выступает человек как последняя целостность и контекст, придающий *внешнюю* континуальность этим различным ступеням *развития знания*: от сведений как знания, уже потерявшего характер нового и интересного (школы), через обучение умениям перерабатывать сведения в знания, т.е. придавать им систематичный, общезначимый и необходимый характер (университеты), к конкретным научным исследованиям (академии).

Это представление о «связи знания» разрушало представления об иерархической структуре общественных институтов – науки, школы, университета. Все они, по мнению философа, выполняют равноправные и равноважные для общества задачи, и ни одна не может быть поставлена выше другой, что было достаточно новым и необычным для немецкого общества конца XVIII – начала XIX ст. с его бюрократическим и иерархическим патернализмом (скажем, Фридриха Великого в Пруссии) и притязаниями государства на управление всем – от сельского хозяйства до науки и образования.

И именно для такой общей «связи знания» особое значение получает *философия*. Из этой связи выводится и место философии в структуре знания: «*Всякий философский тип мышления, как он выражен в языке, в методе, в способе изложения, присутствует*

во всяком научном произведении», – полагает мыслитель.

Философия как герменевтически-круговая методология науки задает ряд общих «диалектических» представлений, таких как представления о целом и о части некой системы целого и его частей. При этом философия здесь обращается и к самой себе, пытается встроить себя саму в систему отношений науки, философии и государства и языка. Философия, конечно, понимается здесь не столько как научный метод, сколько как контекстно-фонное, герменевтическое, методологическое знание о способе представления, компоновки и классификации самого знания.

Такой эпистемологический подход указывает на две временные логики, являющиеся следствиями дифференциации научного знания на собственно научное и на методологически-философское: временную логику развития науки и временную логику развития философии.

Логика развития конкретного научного знания, осуществляемого академиями и требующего общественной поддержки, имеет своей предпосылкой уже устоявшееся и зафиксированное знание, доведенное до конечного – истинного – состояния. Таковым «абсолютным» знанием и является спекулятивная философия, которая в силу такого «зафиксированного», не требующего дополнений или трансформаций статуса

теперь может быть выведена из-под подобной «общественной опеки».

Социальная обусловленность науки в целом (как единства эмпирического и спекулятивно-философского духа) оказывается ограниченной наукой в узком смысле слова, т.е. академической наукой, в то время как философия, по мысли Шлейермахера, в принципе достигла совершенства и взошла на свой пьедестал «царицы наук».

Но из этого, с современной точки зрения, конечно же, несколько наивного в своем оптимизме взгляда на возможности философии, выводится и не столь приятный для академических философов вывод об институциональной ненужности философского подразделения в структуре академии и академической науки.

Ведь философия, понимаемая как инструментарий, т.е. как уже «изготовленный» и годный к употреблению общенаучный метод, языковой контекст научной деятельности, в этом инструментальном смысле уже не требует для себя конкретного научного исследования, а поэтому должна быть отдана на откуп университетам, где ей остается участь «быть изученной», но не «быть исследованной».

Этот своеобразный, мягкий, позитивизм Шлейермахера допускает философию в качестве готового знания и «впускает» ее в науку, однако строго ограничивает ее рамки социолингвистическим анализом.

2. Социальная философия науки – немецкая версия.

Фридрих Шлейермахер и реформа немецкого университета

Эта книга имела исключительное значение для немецкого образования и науки⁴. Именно данная работа стала той теоретической основой, на которую опирался Вильгельм фон Гумбольдт⁵, на короткое время занявший пост прусского министра культуры и предпринявший фактические шаги по учреждению нового реформированного университета (позднее получившего его имя) как прообраза современного немецкого университета и немецкой науки в целом.

⁴ Впрочем, и сейчас идеи Шлейермахера выглядят удивительно современно. В каком-то смысле здесь предвосхищаются подходы Макса Вебера (в особенности его понимания «научного духа» в «Науке как профессии»), Эдмунда Гуссерля (с его пониманием кризиса науки как следствия ее специализации), современных концептов STS, требующих демократизации науки (как в отношении языка ее понятий, так и роли ученого не только как исследователя, но и ученого-активиста, рефлекслирующего над внешней, социальной функцией своего исследования).

⁵ См.: *Spranger E. Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee. Berlin, 1909.*

Впрочем, в какой-то мере В. Гумбольдт ориентировался и на два других проекта, которые в конечном счете и результировали в его идею немецкого *Kulturuniversität überhaupt*. Так, помимо проекта Шлейермахера в какой-то мере проявилось и влияние фихтевской идеи⁶ «деиндивидуализированного прусского университета в униформе»⁷, и проект универсально-христианского университета Хенрика Штеффенса⁸.

И все-таки в словах Вильгельма фон Гумбольдта, концентрированно выражающих романтическую идею о науке без труда, угадывается – безусловно, свойственная и другим представителям романтизма – как герменевтически-круговая диалектика части и целого, так и вытекающая из нее идея академической свободы частей этого целого, развитые Фридрихом Шлейермахером: «Наука есть *органическое целое*; тот, кто стремится к подлинному знанию, тот не может искать чисто профессионального образования, но должен наполнить себя духом целого. <...> Университет же, по самой своей идее, есть научный универ-

⁶*Fichte G.* Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt (1807).

⁷*Spranger E.* Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee. Berlin, 1909.

⁸*Steffens H.* Über die Idee der Universitäten: Vorlesungen. Berlin, 1809.

ситет: всякое отдельное не есть нечто готовое, но всегда нечто становящееся, никогда полностью не исчерпанное. Он производится исключительно внутренней самодеятельностью, которая предполагает полную свободу духовного формирования»⁹.

Шлейермахера с полным правом можно назвать одним из первых немецких социальных философов науки в современном смысле этой дисциплины. В центре его замысла – стремление адаптировать и трансформировать традиционную структуру немецкого университета как одной из средневековых цеховых корпораций к новым политическим условиям общества модерна, потребностям централизованного прусского государства. Данный проект не в последнюю очередь имел отношение к его внешнеполитическим амбициям, существенно поколебленным Наполеоновскими войнами в том, что касается территориальной экспансии, но сделавшим тем более актуальным «экспансию» немецкого духа в области культуры, образования и науки. Этот концепт герменевтического круга, как мы покажем ниже, здесь оказывается как нельзя кстати.

И это лишний раз убеждает, что данный проект и анализ Шлейермахера следует характеризовать как

⁹ Цит. по: *Spranger E. Fichte, Schleiermacher und Steffens über das Wesen der Universität. Berlin, 1909. S. XL.*

экстерналистский, что существенно отличает его от *интерналистского* проекта реформирования науки и образования, предложенного Кантом в знаменитой работе «Спор факультетов».

При всем различии в подходах примечательно, что в центре реформационных усилий и в качестве объекта критики и Канта, и Шлейермахера стоит положение философского факультета в рамках университета. Традиционная структура университета, как известно, предполагала деление на «младший» философский факультет (ранее, факультет «свободных искусств»: с его тривиумом из грамматики, диалектики и риторики и квадриумом из арифметики, геометрии, астрономии и музыки) и старшие: теологический, медицинский и юридический факультеты. В этой связи Кант утверждал, что роль философского факультета должна существенно поменяться, так как в качестве проповеднического он не поспевал за стремительной дифференциацией и профессионализацией наук.

Причем вызревали новые дисциплины (прежде всего, «естественная история» и «натуральная философия») именно в недрах младшего факультета, а значит, сам философский факультет и философия, формулирующие фундаментальные методологические принципы, должны были занять подобающие и равные, если не первое, места в конкуренции со старшими факультетами.

Герменевтический круг и научное сообщество

При этом Кант, конечно, исходит из внутренней дифференциации наук как основания для реформирования научного образования. И в этом интерналистском ключе надо понимать мысль Канта об отделении метафизики, с ее априорными принципами научного познания в целом, от физики, прежде всего, конечно, законов механики Ньютона, как неких априорных оснований единства всего естественнонаучного знания¹⁰.

Это существенно отличает его от Шлейермахера, которого интересовал, прежде всего, как бы теперь сказали, социально-политический контекст развития науки и образования как особый случай диалектики общего и частного. Применяемый здесь концепт герменевтического круга (общее присутствует в частном, а частное репрезентирует общее) был, как известно, развит Шлейермахером для целей интерпретации религиозных и литературных текстов и предполагал наличие некоторого центрального феномена (скажем, некой точки пространства, характера личности, биографии, корпуса текстов,

¹⁰ Так, Кант в «Метафизических началах естествознания» в каком-то смысле уравнивал «анalogии опыта» как предшествующие опыту принципы чистого рассудка с «принципами механики» (скажем, принцип причинности соответствовал принципу инерциального движения – «все изменения движения происходят ввиду действия внешних сил») и т.д.

общественного явления и т.д.), который обеспечивал бы «единобытие всех частей в их целостности».

На современном теоретическом языке, имея в виду примерно то же самое, говорят о *структурных сцеплениях* автономных частей целого, ничуть не теряющих в своей автономии, несмотря на их сопринадлежность. Такими частями *научного целого* являются, по мысли Шлейермахера, например, *академия, университеты и школы*.

Но и наука, как некоторое целое относительно академий, школ и университетов, в свою очередь выступает лишь в виде частного феномена, *структурно сцепляясь* с государством и потребностями государственного управления как высшей целью, высшим целым и высшим благом.

Впрочем, как некоторый внешний для науки социально-личностный контекст (объединительные задачи политического центра – Берлина, но не в последнюю очередь и фигура ученого-преподавателя¹¹), так

¹¹ «Преподаватель университета работает, постепенно переводя результаты работы в академии, и у большей части сотрудников академии остается еще время, которое им хочется посвятить исполнению отдельных функций университетского преподавателя», – пишет Шлейермахер. Это покажется странным для научных сотрудников институтов ФАНО РАН, которых тотчас переводят на полставки, стоит им заявить о своих внешних – преподавательских – интересах, но идея профессиональной специализации ученого исключительно на научном исследовании была чужда романтическому идеалу науки.

и внутренний центр (прежде всего, философский факультет, репрезентирующий целое в частном, а значит, представляющий единство научного знания в частном, прежде всего в образовании) – все это выступает средствами структурного сцепления этих *независимых*, но сопряженных феноменов, ведь такие сопряжения вовсе не требуют от академии, университета или школы объединять свои функции и задачи.

Более конкретно задача реформирования университета представлена в главе «О наделении учеными званиями». Однако это название несколько обманчиво.

Речь здесь скорее идет, если использовать современную терминологию, об определении принципов инклюзии в научное сообщество, и значит, о некоей внешней или институциональной демаркации науки, о классификации ученых и их подразделениях на отдельные сообщества.

Целый ряд проблем «социальной философии науки» поднимает означенная глава. Здесь и «отсутствие доверия» к ученому званию как внутри науки, так и за ее пределами. Но что стоит за этой констатацией? Значит ли это, что развитие немецкой науки, по крайней мере в ее коммуникативно-институциональном аспекте, в начале XIX в. проходило тот же этап, который в России мы переживаем сегодня в связи с очевидной девальвацией научных степеней, научных репутаций и общей деградацией науки в связи с безразличием со стороны государства, или, лучше

сказать, с неумелым «внешним управлением» с его стороны?

Возможно, Шлейермахер был свидетелем каких-то эксцессов с некими немецкими *мединскими* – чиновниками, которые, с одной стороны, притязали на научные степени, а с другой – неумело вмешивались в научно-образовательную сферу. Возможно, недоверие к ученому званию можно было бы понимать и как вечную проблему науки, как институциональное недоверие, с которым следует относиться ко всякому научному утверждению и притязанию и демонстрировать научный скепсис даже и к такому авторитетному подтверждению научной репутации как научная степень или ученая звание.

Ученое звание для Шлейермахера и есть такая точка структурного сопряжения *внутринаучной* перспективы (точки зрения «научного союза») и *внешних* для науки государственных резонансов, о котором мы говорили выше.

Ведь государство осуществляет своего рода аутсорсинг, использует ученых и для собственных нужд. Но если оно использует ученых, то почему не доверяет *внутринаучному* определению званий, а вмешивается в процесс и проводит государственные экзамены для чиновников? Шлейермахер фиксирует здесь замкнутый круг. С одной стороны, он порицает практику, когда присвоение научных степеней и званий происходит под контролем государства, ведь в этом

случае университет утрачивает собственную автономию, и следовательно, более не гарантирует действительных научных достижений, символизируемых полученными званиями.

И именно поэтому, с другой стороны, государство не считает гарантируемые званием знания чем-то, что дает лицензии на практикование профессий, а требует дополнительных государственных экзаменов, что соответственно нивелирует значение университетского образования.

Здесь легко распознается наша российская ситуация, когда формирование научной репутации и присвоение научных регалий находится под контролем государственных институтов (ВАКа и минобра).

Какой же выход предлагает Шлейермахер? Как всегда, приходится начинать с самоочищения рядов ученых через изменение правил инклюзии в научное сообщество и принципов научной коммуникации и, как следствие, – демаркации науки.

Среди предлагаемых мер ключевое значение получает коммунитаристский, а не индивидуалистический принцип отбора научных кадров: не научная работа, письменный текст, но диспут, дискуссия, полемика – вот доказательство права исследователя на инклюзию в научное сообщество. Именно этот внутринаучный коммуникативный фильтр призван заменить неэффективный принцип государственного присвоения науч-

ных званий, дающих право быть членом научного сообщества.

Но как же при такой минимизации административного контроля «научный союз» сможет обеспечивать потребности государственного управления в «сведениях» и «знаниях»? В качестве его компенсации Шлейермахер помещает социоэпистемологическую перспективу *внутри самой науки*, т.е. требует от самого ученого знать *не только «собственное поле»*, но и быть осведомленным о *внешней* потребности в знании.

Здесь без труда угадывается представление Шлейермахера о своей собственной роли – ученого-теолога, не ограничивающегося умозрительной теорией и методами, но практически применяющего их в своем проекте переустройства общества – создания нового современного университета, прописывающего мельчайшие детали его будущего строения.

В итоге «научный союз» должен получить структуру, основанную на следующей классификации ученых. Речь идет, во-первых, о «рабочих на поле науки», о тех, кто наделен талантом, но не воспринял «дух» науки. Однако подлинные члены научного сообщества, объединяющие в себе и дух, и талант, подразделяются в соответствии с особенностями своего таланта на склонных к теоретизациям или к их практическому применению. На современном языке мы бы сказали – к фундаментальным или прикладным исследованиям, где именно последние предпола-

ли бы «объединение науки с жизнью». Что характерно, именно ученые-практики, а не представители фундаментальной науки, должны, по мысли Шлейермахера, занимать в науке ведущее положение.

Другим, и не менее важным, средством сцепления частей научного целого выступает философский факультет.

Функция философского факультета – репрезентировать единство научного союза, и эта функция, в свою очередь, объединяет экстерналистское и интерналистское понимание науки. Наука как единое сообщество возможна только при наличии в ней философского факультета. Если использовать современные представления социологии науки¹², то, возможно, Шлейермахер на своем языке высказывает идею о том, что у науки должна быть особая рефлексивная инстанция, некий наблюдатель второго порядка, ставящие мета-вопросы (что такое научное знание, истина, научная теория, методология?), некоторым образом объединяющие всю науку, поскольку каждая отдельная дисциплина такие вопросы игнорирует как не относящиеся к ее предмету.

Не в последнюю очередь, поэтому Шлейермахер защищает немецкую идею двух докторских степеней, которая, как известно, по немецким лекалам укоренилась и в России.

¹² *Луман Н.* Истина, знание, наука как система. М.: Логос, 2016.

Более низкая степень доктора философии присваивается как показатель некоторого универсального знания, причастности к единству и общности наук, постепенно утрачиваемых в ходе дифференциации дисциплин и ввергающий науку в известный кризис (Гуссерль). Но именно это общее философское знание делает возможным познание в рамках специальных дисциплин (и здесь применяется идея герменевтического круга).

Другим важным средством демаркации науки и критерием инклюзии в научное сообщество, в свою очередь соединяющим внешние и внутренние принципы, является идея специального языка науки.

Выверенная латинская научная терминология, в прошлом заместившая «ненаучный» родной язык в силу своей терминологической элитарности и недоступности для прочей публики, защищала науки от «фальсификаций» научных достижений со стороны «любителей», однако теперь в немалой степени способствует той самой дискредитации звания ученого. Она еще сохраняет свое значение языкового демаркатора науки и ненауки, но ее границы сужаются до области филологии, математики и антиковедения.

Ведь теперь, когда и национальный язык «дозрел» до «обсуждения научных идей», такая демократизация языка науки делает возможным проверку достижений ученого в том числе и извне. Отсюда парадокс – коммуникативное замыкание науки возможно

только при ее, не в последнюю очередь, терминологической открытости и доступности.

Красной нитью через весь текст книги проходит мысль Шлейермахера о необходимости соединить две фундаментальные идеи: идею автономии «научного союза» и, как следствие, автономию научной коммуникации, где формирование научных квалификаций и репутаций было бы внутренним делом ученых, академий и университетов, а никак не государства.

Но, с другой стороны, важнейшее значение для него имела и идея немецкого национализма, которую разделяли многие романтики. Именно она заставляют Шлейермахера формулировать некий аналог «идеи мягкой силы», некой – отчасти реваншистской – идеи культурной экспансии Пруссии после того, как потерпели фиаско проекты военного объединения немецких княжеств под эгидой Пруссии.

Наука и образование – вот то, что должно было вернуть Пруссии былое величие. «Пруссия не только не отказалась от призвания, которое она столь долго в себе упражняла, позитивно воздействовать на образование высшего духа и именно в нем искать своей власти», – пишет Шлейермахер.

Именно эти мотивы определяли и *амбивалентность* в отношении «научного союза» и статуса нового университета. Желание академической свободы словно уравновешивается желанием получить особую протекцию, что отражает – отчасти патерналистские –

ожидания «господдержки» для нового учреждения. Именно это определяет тему последней главы книги, призванной регламентировать нормативные структуры новообразующегося немецкого университета и обосновать его особое положение.

В контексте означенной амбивалентности, конечно, Шлейермахеру оказывается чуждой столь популярная ныне идея «пространственного обеспечения» автономии нового университета (некоего «города ученых», «кремниевой долины», «академгородка» как ответа на необходимость локализации научно-образовательных функций в некоем уединенном месте, чтобы отвлекающие внешние контексты никак бы не препятствовали научным изысканиям).

Функциональная автономия науки, по мысли философа, вовсе не предполагает удаление из мира на манер религиозного уединения, поскольку (как свидетельствует судьба Университета Франкфурта) в централизованном государстве, каковым являлась Пруссия, университет – как привилегированный социальный институт («форма жизни») – вынужден «демонстрировать блеск» и конкурировать с другими политическими институтами и аристократическими сообществами, быть ближе «суверену» и располагаться в столице.

«Берлин? – спрашивает Шлейермахер. – И, правда, легко увидеть, поскольку это богатейшее в прусских государствах сосредоточие учености, талантов, все-

возможных выражений искусства; поскольку он вбирает в себя многие институты, которые поддерживают университет и благодаря связи с ним».

Оправдание университета – от корпорации к организации

В центре проекта Шлейермахера – реформирование университета как образовательной и научной организации нового типа, или, в его собственном словоупотреблении: «Главным намерением без сомнения было постепенно подорвать готическую форму и цеховое устройство старых университетов, но не лишиться вместе с этим сущностной формы “подлинного студенческого духа”».

Но решается ли эта задача в принципе и допускает ли *организация* как новая форма университетской жизни с ее жестким уставным регулированием правил членства, т.е. обязанностей, и соответствующих привилегий, которые они предполагают, сохранение академических свобод?

Такая опасность «утраты научного духа» и, как следствие, «единства корпорации» связывается Шлейермахером с отпадением «реальных наук» от философии, призванной утверждать единство научного знания, и их «тяготением» к «чистой эмпирии». Здесь интерналистский способ утвердить единство науки и вместе с ним – единство и замкнутость научного со-

общества, гарантируемое именно философией как некоторой первой – среди равных – дисциплиной, дополняется экстерналистским прописыванием процедуры учреждения современного университета.

В этом экстерналистском ключе Шлейермахер обсуждает важнейшие, с его точки зрения, внешние условия функционирования новой организации: фондирование исследований, предоставление стипендии (которые он предлагает предоставлять не в виде денег, но в виде некоторого «натурального продукта» – еды и жилья), студенческое кредитование, введение университетских судов; здесь же регламентируется и жизнь студенчества, подвергающегося разного рода опасностям, способным подорвать студенческий и научный дух («половое влечение», «театры», «страсти к игре» и т.д.); и среди прочих регламентаций и запретов, конечно же, запрет на разные административные регулирования и запреты.

Многие из предложенных регулятивов научной и студенческой жизни сегодня покажутся смешными, но именно этот свод правил жизни нового университета показывает нам, какие гипертрофированные страхи связывали реформаторы с тем, что научная и образовательная коммуникация – в условиях новых свобод – окажется под властью коммуникативных ориентиров и медиа других социальных систем. Именно страх за чистоту «науки» и «образования» диктует эти компенсационные меры, способные, по мысли Шлей-

ермахера, нейтрализовать опасности, связанные с потерей университетом формы замкнутой цеховой корпорации с ее заурегулированностью и регламентацией всех форм жизни.

При этом прописывание условий жизни нового университета (вплоть до мелочей) все-таки осуществляется так, чтобы не предписывать и ритуализировать студенческую жизнь, но определять сами условия жизни. Например, не предполагается запрещать студентам участвовать в разного рода городских развлечениях, но вместо этого ограничиваются кредиты так, чтобы денег хватало исключительно на образование, а не театры и прочие увеселения, и т.д.

Эти страхи связываются, безусловно, с расположением университета в политическом и культурном центре страны, но все означенные опасности перевешивает то обстоятельство, что благодаря центральному расположению он станет центром сосредоточения науки, практики, жизни и потребностей управления, что в итоге послужит лучшим оправданием его учреждения. Шлейермахер понимал, что последнее обстоятельство с неизбежностью приведет к конкуренции и столкновениям «научного союза» и университета с другими государственно значимыми институтами.

В условиях такой институциональной конкуренции (двора, армии, аристократии, чиновничества и т.д.) проект Шлейермахера ставит себе означенную задачу самооправдания, задачу устранить «предрассудок, что

тот, кто занимается наукой, тот одновременно демонстрирует свою неспособность и нежелание заниматься настоящим делом».

И действительно, новый университет требовал высочайшей протекции, ведь наука все еще не понималась как «производительная сила общества», а посему основание нового университета, ориентированного на современное состояние исследований, а не на средневековые схоластические темы, не являлось чем-то естественно-понятным. Но такое оправдание науки и не в последнюю очередь равновысокого – в сравнении с аристократией – социального статуса ученых Шлейермахер осуществляет все-таки не ссылкой на потребности хозяйства, производства, но прежде всего указывает на полезность ученых в государственном управлении. И это, конечно, существенно обостряет ключевой для него вопрос инклюзии в научное сообщество и его автономии. Ведь если научное сообщество рекрутирует исследователей для административного управления, то зачем нужны академические свободы? Учить чиновников свободомыслию?

Фридрих Шлейермахер

**НЕЧАЯННЫЕ МЫСЛИ О ДУХЕ
НЕМЕЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Предварение

Небольшое предисловие к небольшому сочинению. Пусть уже самим своим заглавием отвратит оно тех, кто по какому-то недоразумению искал бы здесь исчерпывающее научное рассмотрение нашего предмета. Но ложной скромностью было выдавать предлагаемое мною лишь за нечто случайное; как сомнением и пустым хвастовством было бы выражать в научной манере то, что родилось лишь по случаю и должно воздействовать соответственно. Дело это, конечно, требует строгого и основательного обсуждения; и то научное поле, на котором оно произрастает, не совсем чуждо автору, и он надеется, что большинство представленных здесь мыслей займут на нем свое место. При этом, однако, он нисколько не претендует ни на научную зрелость, ни на строгость изложения. Не притязая на эту степень совершенства, и раз уж представился такой случай, он предлагает

мнение, составленное, насколько это было возможно, в жанре легкого наброска, в виде речи, не сложной для запоминания в эпоху, которая, при всем разрушении столь многих древностей, способствует развитию и столь же многих ростков нового.

Тот, кому приходится участвовать в насаждении или обновлении научных учреждений, все же не способен полностью предусмотреть, сможет ли он изложить сам предмет, о котором он собрался дать совет, а также его отдельные части в их подлинном соотношении. Уже довольно долгое время о нашем предмете высказываются противоположные мнения. Каждое из них, бесспорно, содержит в себе нечто истинное и достойное внимательного рассмотрения; но поскольку это всего лишь *одна* сторона, выделяющаяся ввиду тех или иных предпочтений или в связи с некоторыми обстоятельствами, то все-таки представление о целостности, образуемое лишь из нее, оказывается неопределенным, произвольным и неестественным; ведь отдельные отношения никогда не смогут стать мерой самой вещи, да и не содержат в самих себе свою собственную меру. И как же трудно, к сожалению, избежать воздействия того или иного предпочтения, некоторого особого обстоятельства, а зачастую даже чужеродной потребности, на размышления тех, кто как раз и облечены полномочиями действовать!

Поэтому-то не должен встречать неприятия тот, кто возвышает свой голос и у кого есть время сосредоточиться на этом предмете, рассмотреть его со всех сторон – в его самых разных обличьях, принимаемых им на протяжении длительного времени. Ведь там, где следует выстраивать новое, величайшее значение получает и постижение того, какое сущее заключалось в прежнем, а что явилось случайным, а возможно, даже основывалось на заблуждениях и недоразумениях, и следовательно, достойно отклонения, что и происходит во всех отраслях человеческой жизнедеятельности.

Такое рассмотрение лучше всего подходит для самих публичных выступлений, ибо они состояются не для тех немногих, кому надлежит творить, преобразовывать и управлять этой сферой, но и для всех тех, кто принимает живое участие в этом деле. Всех их поэтому и приглашает автор присмотреться к его наблюдениям и через это почувствовать в себе воодушевление к постижению этого предмета – к такому, как предлагает автор, или к лучшему, но, во всяком случае, – к более основательному, чем прежде.

Можно исходить из почти всеобщей предпосылки, что люди обладают не только разного рода сведениями, но и некоторой наукой. Охота за ней, страстное стремление к ней проявляют себя повсеместно: даже

среди тех, кто ведет свое дело большей частью согласно стародавним обычаям и апеллирует к предшественникам; но в этом не было бы никакого смысла, если бы не было заложено здесь некоторое смутное ощущение, что предшественники, занимаясь тем, чем и мы, опирались не столько на чистое право обычая, сколько на некоторое более высокое основание. Как и среди тех, кто способствует дальнейшему продвижению тех или иных людских дел, опираясь на силу чистого инстинкта, призывает других непременно объяснять свое поведение и понятно его обосновывать. Все это указывает на науку.

То, однако, что это не может быть делом отдельно-го человека, им завершаться и полностью вменяться только ему *одному*, но должно воплотиться в общем труде, где каждый вносит свой собственный вклад так, чтобы он в своем намерении зависел бы от всех остальных и мог единолично обладать лишь некоторой выделенной – при явной ее неполноценности – долей, все это, безусловно и повсеместно, тоже должно проявляться в своей очевидности. И настолько точно все это сопрягается и проникает друг в друга в сфере знания, что можно было бы сказать: чем больше желают изобразить нечто исключительно ради него одного, тем более непонятным и запутанным оно выглядит, ибо, строго говоря, все отдельное лишь в его сопряженности со всем прочим полностью до-

ступно созерцанию, и поэтому образование каждой части зависит также и от образования всех остальных. Это необходимое и внутреннее единство всей науки ощущается повсеместно там, где проявляются определенные стремления такого рода. Все научные усилия тяготеют друг к другу и сходятся к *одному*, и вряд ли найдется на каком-нибудь ином поле человеческих деяний столь широкая общность, столь непрерывно воспроизводящееся предание о первоначалах, нежели на поле науки. Правда, и здесь распределяются и разнообразным образом разделяются человеческие усилия, и иногда – то тут, то там – даже подвергаются насильственному и произвольному разрыву. И то, что подлежит научному рассмотрению, у различных народов одной и той же эпохи чрезвычайно часто весьма незначительно связано друг с другом; но еще больше отделены друг от друга целые эпохи. От того, однако, кто этот предмет рассматривает в его целостности и здесь в таком поступательно развивающемся устремлении постепенно сводит воедино все разъединенное, не ускользнет главенствующая сила внутреннего единства.

И то, что какой-то человек науки способен жить отдельно от других, в уединении лишь своих собственных трудов и предприятий, является в этой связи лишь пустой видимостью. Напротив, первый закон всякого направленного на познание устремления со-

стоит в сообщении; сама природа во всей отчетливости воплотила этот закон в невозможности производить что-либо научно лишь для себя одного и вне языка. Поэтому исключительно из влечения к познанию там, где оно действительно пробудилось, все связи, необходимые для его целесообразного удовлетворения, должны, словно сами собой, способствовать разнообразнейшим формам сообщений и общности всех занятий; и было бы заблуждением полагать, что все такого рода учреждения, как это теперь представляют, могли бы быть лишь делом государства. Никто не может указать на то, откуда возьмется у него способность собирать воедино первоначально чрезвычайно рассеянное знание. Лишь там должны все образовательные учреждения иметь своим источником государство, где совершенно грубый еще народ управляется и организуется малой и образованной его частью, которая пока еще лишь стремится пробудить в нем это влечение к познанию. Стоит лишь посмотреть на то, как уже в лоне семьи, словно сами собой, образуются элементы обучения и общности этих знаний; на то, насколько в целом сомнительны все более значимые специальные меры — неважно, принимают ли они самими учеными, государством или церковью. Разве не вытекает из всего этого, что мы ради того, чтобы оставаться верными природе вещей, должны рассматривать все эти учреждения как нечто

первоначальное, как возникающее из свободной склонности, из внутреннего влечения?

Но, конечно, чем активнее они формируются, тем больше требуется им средств поддержки, инструментов самого разного рода, полномочий для членов научного союза, среди которых – и право контактировать с другими на законной основе. Всего этого, конечно, можно испрашивать только у государства, и поэтому к нему обращено требование признавать в качестве морального лица, терпеть и оберегать тех, кто объединился, как мы выражаемся, ради целей науки.

Это ожидание нисколько не выглядит чужеродным для немецких народностей и законодательств, ведь мы постоянно видим, что в этой среде для самых разных целей возникает и развивается множество свободных союзов, которые – пока они находятся вне подозрений и не выказывают ничего противоправного, разрушительного для государства, что бы вызывало бы их преследование, – государство не только терпит, но и признает за ними разного рода прерогативы, как это и должно приличествовать лицам коллективным, которые ведь более значимы, нежели лица отдельные.

Но как это многократно случается и с другими союзами, государство, убедившись в их полезности, постепенно настолько присваивает их и вбирает в себя,

что через некоторое время уже и нельзя различить, возникли ли они свободно и сами по себе или же были учреждены управляющими властями. И как раз это, как мы видели, и происходит с союзами научными. И ведь каждый — если бы только не столь явно пережитый нами опыт! — мог бы усомниться, действительно ли, при явной связанности всех научных устремлений общей образованной эпохой, те из союзов, что возникли внутри некоторого государства, добровольно пожелали бы отделиться от всех остальных, и напротив, пожелали бы столь жестко соединиться с государством, которое им собственно чуждо. И, правда, нет недостатка в столь явном противодействии научного союза подобной чрезмерно жесткой связи. Это, видимо, и есть истинный и естественный порядок вещей.

Для всех научных занятий, образующихся в области *одного* языка, характерно естественное близкое сродство, в силу которого они сопряжены друг с другом теснее, нежели с какими-нибудь другими, и поэтому-то и образуют свое собственное, некоторым образом замкнутое целое в пределах некоторого более значимого целого.

Ибо то, что производится научно и изображается *одним* языком, причастно особой природе этого языка; и то, что самым непосредственным образом не относится к опытам и процедурам, необходимо тожде-

ственным и универсальным, как например, в области математики или экспериментального естествознания, – не может с такой же точностью переноситься в некоторый другой язык, и поэтому, в силу этой связанности с языком, образует внутри себя некоторую однородную целостность.

Для ученых, правда, сохраняет свою необходимость задача нового снятия разделения между различными областями, преодоления языковых барьеров и сравнительного соотнесения друг с другом того, что посредством этих барьеров, казалось, было разъединено; задача, в которой научное рассмотрение языков, возможно, обнаруживает свою высшую цель. Лишь эта задача, очевидно, является высочайшей для всего научного сообщества и, возможно, никогда не будет выполнена, но именно благодаря этому еще больше утверждается неизбежность его обособления. Если же мыслить научные объединения как возникающие – на всех этапах – из свободного влечения к познанию, то, прежде всего, становятся заметны их стремления объединяться настолько, насколько это позволяет область *общего* языка. Это и есть самый тесный союз, а всякая выходящая за его пределы общность является лишь некоторой другой, более широкой.

Государству же представляется также очевидным, что всякие знания и даже науки суть нечто целительное и превосходное. И каким бы большим или малым

ни было это государство, справедливо бы или несправедливо оно при этом ни поступало, оно всегда желает принадлежать самому себе: и как таковое оно может существовать лишь благодаря массивам сведений, которые по возможности сводятся в тотальность – по крайней мере, настолько, чтобы через живое чувство, потребность и благожелательное восприятие в нем бы оставался некоторый след от всех ветвей знания, некоторое осознание, хотя все-таки в силу своеобразности такого воплощения лишь немного из всего этого достигнет расцвета.

Одна лишь благопристойная и благородная жизнь, если она не связывает – с неизменно ограниченными – умениями в области познания еще и некоторый всеобщий смысл, приносит государству столь же мало, сколь и отдельному человеку. Применительно ко всем приобретенным сведениям как государство, так и отдельный человек естественным и необходимым образом исходят из предпосылки, что они должны основываться на науке и лишь благодаря ей могут размножаться и уточняться. Поэтому государство пытается встроить себя в некоторую живую взаимосвязь всех тех устремлений, которые и приводят к такому усовершенствованию; оно вбирает в себя такие учреждения, которые оно само и должно было бы учредить, если бы уже не обнаружило их ранее; и поскольку научный союз тоже имеет потребность защи-

ты и покровительства со стороны государства, то и проявляют они обоюдное стремление к взаимопониманию и взаимному объединению.

Государство, однако же, трудится лишь ради себя, оно, как это показывает история, первоначально проявляет себя чрезвычайно эгоистичным, а следовательно, и ту поддержку, которую оно предоставляет науке, желает сосредоточить внутри своих границ. Если же государство полностью наполняет собою область своего языка, то и более тесное научное сообщество уже не стремится вырваться за его границы; и так объединение между ними обоими осуществляется безо всякого раздора, быстрее или медленнее, смотря по тому, является ли живым или же еще недостаточно осознанным убеждение обеих частей в том, как они нуждаются друг в друге и какое содействие способны они друг другу оказать.

Если же государство не заполняет всецело область своего языка, то и оно, и научный союз связывают со скрепляющим их объединением различный интерес. Мужики науки желают использовать государство и его поддержку лишь для того, чтобы с гораздо большей эффективностью достигать своих целей в более обширной языковой области. Они не согласны признавать более узкие границы государства своими собственными; и хотя за его поддержку вынуждены ока-

зывать государству известные услуги, все же рассматривают их как нечто второстепенное.

Правительства же, напротив, испытывают друг к другу тем большую ревность, чем ближе они друг к другу расположены, и опасаются от центробежных научных связей безразличия к данному государству, а то и предпочтения чужим учреждениям, и иных вредных для духа подданных влияний; и поэтому делают все возможное для того, чтобы удерживать более тесный союз ученых в границах государства. И наоборот, если бы государство охватывало собою область нескольких языков, то пригласило бы оно всех ученых со всей своей территории для тесного объединения и образования некоторого целого.

Ученые же, очевидно, разделились бы на две партии, и каждый язык стал бы пытаться отвоевать благосклонность властителя, выражаемую по отношению к какому-то другому языку, а искреннее братство создавалось бы лишь среди тех, кто говорил бы на *одном* языке.

О неестественности стремления государств к своему расширению и выходу за границы собственного языка, утверждал недавно даже один великий государь, так что приходится только поражаться тому, насколько неотложной является данная необходимость, если она смогла привлечь даже такое ясное сознание, как его. Вопрос о неестественности того, что

область общего языка распадается на столь многие малые государства, как это имеет место в Германии, мы оставляем открытым. По меньшей мере, представляется желательным, чтобы эти малые государства сохраняли имеющиеся связи, и неразумными были бы их желания владеть своими научными учреждения замкнуто – лишь ради них самих. Ибо лишь внешним и вынужденным было бы образование последними некоторого целого, каковое выгладит тем комичнее, чем меньше государство, если бы это целое пожелало полностью само себя формировать; согласно самой природе вещей, эти научные учреждения всегда будут представлять лишь части более обширного союза, и чем больше стремятся они обособиться, тем большего благотворного влияния остальных частей они оказываются при этом лишены, а одновременно с ним – питания и здоровья.

И действительно, пожалуй, ничего нет более удивительного и более далекого от требований общего блага, нежели то, когда какое-то немецкое государство обособляется вместе со своими научными образовательными учреждениями. Напротив, нигде, кроме научного дела, так глубоко не проявляется сообщество, в котором должны состоять такие государства; и если естественное направление окажется таким, что и государства эти соберутся в *единство* соразмерно возрастающему *единству* их языка, то в чем бы могло

состоять более легкое, надежное и естественное предуготовливающее средство, как ни в научной области, которая пребывает в таком равном взаимодействии, как государством, так и с языком, что могло бы послужить началом для учреждения самого многостороннего, самого верного и лишенного всякой зависти сообщества, благодаря которому яснее всего проявилось бы внутреннее единство внешним образом разделенного? И посредством чего же должно быть, наконец, ясно и беспристрастно решено, сколько еще продлится это обособление и как далеко оно может заходить, как ни посредством по возможности самого широкого научного образования, приносящего благоразумие, не позволяющего ослепить себя никаким отдельным интересом и постепенно искоряющего мелочные страсти и предрассудки?

И все-таки мало кто из наших отечественных правительств удержался от совершения всевозможных ошибок в этом направлении; но вместо того, чтобы каждое из них холило бы и лелеяло у себя все, что только возможно, а правительство и народ повсеместно наслаждались бы и пользовались сообща, радостно и гордо всем тем, что образуется где-то в пределах немецкого отечества, верх берут – чем дальше, тем больше – две противоположные этому меры. Так, некоторые правительства состязаются друг с другом в том, чтобы все подвластные им образовательные

учреждения превратить в сосредоточие всех научных сношений по всей Германии, озаботившись тем, как бы прельстить к себе всё, отмеченное наукой, пусть даже это и обеднит другие государства. Если бы только это было подлинное состязание, то не отставали бы даже от того, что было бы совсем несложно осуществить! Если бы только при этом проявлялась добрая воля к сотрудничеству с меньшими государствами, не способными к великим свершениям, к поддержке их учреждений и совместному вознаграждению их талантов, то не было бы тогда и серьезных возражений. Но первое их намерение проявляется как раз в том, что в удовлетворении своих научных потребностей всякое государство желает обособиться от всякого другого, между тем как подлинной независимости здесь можно достичь лишь в том случае, если каждое из них пропорционально и в полной мере вносит свой вклад в сохранение и умножение общественного блага, все остальное же есть лишь надменное и порочное бахвальство.

Ведь и через духовное превосходство жаждут стяжать государству больше мощи и уважения за пределами его собственной области. И пусть это есть самый мирный и прекрасный вид завоевания, все-таки и оно с легкостью подвергает науку той опасности, когда одни лишь деньги прельщают ученого мужа. И если эти завоевания проводятся несоразмерно естествен-

ной значимости государства или в мелочном стиле, то выглядит это все потешно и болезненно.

Другая мера – это те преграды для науки, что возводятся правительствами для ограничения или прекращения научных сношений с заграницей и препятствования их гражданам – в том виде, как им желательно, – участвовать в научных предприятиях соседних государств. И если происходит это в государствах, находящихся под властью церкви, что до недавнего времени имело место в большей части католической Германии, то это, к несчастью, еще раз доказывает их мрачное состояние. Если же на возведение такой преграды решается государство незначительное и окруженное более могущественными соседями, ощущающее, что следует напрячь все силы и употребить все средства к возможно долговому утверждению своей независимости от прочих, – то лишь достойны сожаления столь великие просчеты в столь похвальных намерениях, ибо духовная ограниченность, следующая из этого обособления, никогда не сможет ни укрепить, ни преумножить независимость.

Если же, однако, даже и могущественное государство, с успехом осуществляющее такого рода завоевание, никак не удовольствуется уже достигнутыми свершениями в данном предмете, пока не заполнит недостающее, и в свою очередь учреждает преграды, то и это есть очевидное проявление надменности, нелибераль-

ности, низкой и алчной экономии, выставляет в сомнительном свете стремления к таким завоеваниям и более всего заставляет всех образованных людей нации ненавидеть подобное правительство!

Однако и еще в одном существенном пункте государство, вбирая в себя научные учреждения, усваивает совершенно иную точку зрения на то, как их направлять и упорядочивать, отличную от мнения ученых, которые более тесно объединены друг с другом вокруг целей самой науки. Обе части, безусловно, были бы едины в том, что государство должно узаконить требования древнего мудреца в их подлинном духе, пусть и не первое из них: о том, что знающие должны властвовать, а второе – о том, что властвующие должны познавать.

Государственные мужи, также и те из них, кто больше других способствует благоденствию общества, видятся себе самим и другим скорее похожими на людей искусства, нежели на тех, кто научно подходит к делу: руководят государством, праведно качают, нащупывают справедливое, порождают они неосознанное и придают ему облик умелой рукой, как и всякий художник, по-своему, согласно укорененному в них прообразу. Это можно легко понять и искренне превозносить, вот и властвуют они не как знающие.

Но то, что это художественное чувство в наибольшей и точнейшей степени и разовьется у тех, кто либо

сам умеет научно рассматривать факты и опыт, или, по меньшей мере, использует их в изложениях тех, кто поставил это себе своей конечной целью; и то, что государственному мужу, как и всякому, кому в рождении им чего-то художественного, приходится ради своих искусств непосредственно или опосредованно черпать и из сокровищницы науки, и он, безусловно, в свою очередь обогащает себя через свои труды; и то, что подлинные улучшения во всех отраслях государственного управления могут проводиться и развиваться с большей надежностью, если властвующие и, насколько это возможно, подвластные, правильно понимают как подлинную идею государства вообще, так и идею этого конкретного государства, и способны применить их с осознанием общих примеров по всей области истории; и то, что, следовательно, поистине любыми способами следует знать, в каких случаях имеет место хорошее управление, — всё это надлежит признавать хотя бы потому, что опыт показывает, что если в какой-либо области отдаляются от этого понимания, в ней *либо* возникает состояние смятения и анархии, как это — помимо прочих царств — имело место в бывшей Польше, которая при обладании большим объемом сведений почти не имела наук, *либо* утверждается кастовый порядок, скудная эмпирия, жестко и боязливо приковывающая себя к традиции, в очевидной несоразмерности со

всеми остальными лучше управляемыми и поэтому поступательно развивающимися отраслями.

Однако именно это как раз чаще всего и отказываются признавать, но, напротив, ненавидят и страшатся того влияния, которое наука стремится оказывать на государство. Государство в этом случае естественным образом озабочено лишь непосредственным использованием сведений. Оно старается благоприятствовать пространному ознакомлению с фактами, явлениями и успехами всякого рода и направлять на них научные учреждения, вбирая их внутрь себя.

Напротив же, тем, кто свободно объединились ради целей науки, важно нечто совершенно иное, а не только массивы сведений. То, что их объединяет, есть сознание необходимого единства всякого знания: о законах и условиях его возникновения, о его форме и проявлении, благодаря чему, собственно, и превращается в знание всякое восприятие и всякая мысль. И больше всего пытаются они пробудить и распространить именно это сознание, благодаря которому во всех сведениях и во всяком их преумножении только и можно получить истину и достоверность. Поэтому, обладая лишь незначительной суммой сведений, трудятся они с прицелом на то, чтобы придавать им этот научный характер. Там, где опыту дано лишь скуднейшее о предмете, вовлекают они его в область науки, выискивают единство в том, из чего постигают-

ся все многообразное, стремятся усматривать целое во всяком отдельном, и всякое отдельное, в свою очередь, – лишь в рамках целого. Так, и всякого человека, образовывать которого пытаются они в подобном же духе, но лишь в незначительной степени этим вооруженного, подводят они к главному пункту научного единства и формы, обучают его видеть этим способом и отпускают его лишь после того, как укоренят в нем способность более глубокого всматривания в отдельное, ибо надлежит ему познавать все в более строгом смысле, а всякое иное накопление отдельных сведений было бы только лишенным достоверности блужданием на одном месте, мимолетная ценность которого состояла бы лишь в некотором улучшении управления.

Государство же, напротив, с легкостью ошибается в значении этого устремления, и чем громче эта спекуляция – так мы всегда будем называть то, что, основываясь на преимущественно научном рассмотрении, соотносится лишь с единством и общностной формой всякого знания, – и чем звучнее она себя проявляет, тем интенсивнее стремится государство ее ограничить и употребить все свое влияние, как благоприятствующее, так и препятствующее, к тому, чтобы способствовать поиску лишь реальных сведений, накоплению всего действительно выявленного, даже и вне всякого отношения к тому, несет ли оно на себе отпечаток науки или нет, к тому, чтобы придать этому ви-

димось единственно подлинных плодов всех восходящих к познанию устремлений.

Научный союз должен неизменно стремиться идти своим курсом, и его более благородные члены жаждут по возможности трудиться ради независимости от государства – отчасти выводя их объединение из-под власти и установлений государства, отчасти пытаясь усиливать свое влияние на него.

Там, где это возможно, прививают они государству более достойный и более научный тип мышления; там же, где это невозможно, там стараются они, чем дальше, тем больше, утвердить по отношению к себе уважение и доверие. Однако чем крепче вплетены научно образованные люди в ткань государства – настолько, что политическое у них перевешивает научное, не доходящее до его ясного осознания, – тем скорее покоряются они этому политическому вмешательству; и чем теснее привязываются обе эти части друг к другу, тем сильнее изолируется эта часть некоторого более широкого национального научного союза от всех остальных, более твердо придерживающихся своеобразности собственных принципов, и низводится до употребления в качестве чисто государственного учреждения. Преимущественно там, где государство уже сплотило совокупную область языка в *одно* целое и приобрело, следовательно, большую мощь и блеск, это сражение обычно заканчивается

не в пользу науки. Если же возникает желание признать некоторые преимущества и за состоянием противоположным, то, безусловно, весьма важно то, что государство хотя бы в этом отношении предоставляет науке большую свободу, пусть даже и исключительно ради самоукрашения при ее помощи.

Нам придется чаще возвращаться к тому, что лишь бегло намечено в этом изложении; ибо, упуская из виду эти выдающиеся моменты взаимовоздействия государства и науки, нет возможности постичь и судьбу внешних отношений последней или решить известную задачу прокладки путей установления надлежащей пропорции между государством и наукой. По крайней мере, можно будет понять, почему государство обычно обходится с университетами именно так, как мы это видим, *и почему последние так сильно жаждут независимости от него и как благоприятнейшее рассматривают состояние, когда государство в наименьшей степени вмешивается в их управление.*

Но сначала следует посмотреть на то, какое место занимают университеты в научном союзе и какая деятельность является для них наиболее предпочтительной.

О школах, университетах и академиях

Под академиями понимается здесь то, что называют учеными обществами самого разного рода, а также

та связь, в которую им надлежит вступать друг с другом, и в которую они, конечно, внутренне уже вступили. Под школами же мы мыслим здесь лишь те, которые по меньшей мере могут быть рассмотрены как непосредственно возникшие из потребности и влечения к познанию, то есть лишь такие ученые школы, которыми обязательно руководят исключительно научно-образованные люди и в которых преподаются сведения, непосредственно принадлежащие научной области.

Итак, это и есть те три главные формы, которые принимают теперь все объединения, созданные для производства науки. Конечно, в последнее время в Европе их можно встретить повсюду, но, пожалуй, именно Германию следует рассматривать как сосредоточие образования, поскольку в других странах отдельные формы, в особенности школы и академии, хотя и приобрели большое значение, тем не менее нигде, кроме как у нас, все три из них не сопутствуют друг другу в столь чистом виде.

Можно было бы, пожалуй, сказать, что весь этот раскрывающийся здесь тип является изначально немецким и точно следует за формированием остальных рожденных в Германии отношений: школа как сотрудничество мастера и его ученика, университет с его учащимися, академии как собрания мастеров друг с другом.

И все же большинству из тех, кто пропитан глубочайшим презрением ко всякому цеховому устройству, все это истолкование – в том числе и того, что еще только предстоит описать, – покажется темным, хотя научное учреждение вовсе не умаляет данное сопоставление с этими разнородными формами, в основании которых ведь все-таки лежит и столь многое прекрасное.

Итак, лучше будем рассматривать эти три объединения – школу, университет и академию – каждое по отдельности и зададимся вопросом о том, что представляет собой каждое и как они между собой взаимосвязаны. Ибо, не поняв всех трех, вряд ли удастся достичь единства в вопросе о сущности и целесообразном учреждении какого-то одного.

Наука, как она существует в виде общего дела и владения целого множества образованных народов, должна давать образование конкретному человеку; конкретному же человеку на его собственном участке в свою очередь надлежит содействовать дальнейшему образованию науки. И то и другое суть учреждения, к которым восходит всякое общественное деяние в этой сфере. Легко увидеть, как первое из них получает полное преобладание в школе, а второе, напротив, – в академии. Школы поэтому имеют полностью гимнастический характер – упражнения сил – и по праву носят это чужое для них название гимназий.

Они всегда примут юношу лучшей природы и в выдающейся степени одаренного, внушающего предположения о его возможной восприимчивости к науке или по меньшей мере о его полезных способностях перерабатывать массивы сведений, и всеми способами постараются испытать, действительно ли он таков.

Но двояким образом должно проявиться то, способен ли некоторый человек к такому более высокому образованию: с одной стороны, определенный талант, приковывающий его к конкретному полю познания, и всеобщее чувство единства и пронизывающей связи всякого знания, с другой, образуют систематически-философский дух. И то и другое должно соединиться, если стремится человек к образованию в себе чего-то выдающегося. Ведь и очевиднейший талант не получит вне этого духа никакой самостоятельности и не сможет далее процветать, а превратится в искусный орган восприятия других, тех, кто обладает этим научным принципом. Но и систематический дух, лишенный определенного таланта, способен лишь вращаться со своими продуктами по некоторому весьма тесному кругу, и в удивительных перегибах, повторях и преобразованиях постоянно черпать из одного и того же высшего всеобщего, ибо в этом случае он был бы мастером без материала.

Но это не препятствует тому, что при объединении обоих составляющих у одних бы преобладал талант,

тогда как у других – всеобщий научный дух. Где, однако, и то и другое не наличествуют в превосходнейшей степени, необходимой для их полного пробуждения и прояснения, там проявляется большая или меньшая нужда в намеренно вносимом их возбуждении, в их искусственном возделывании. Итак, школа должна воздействовать на то и другое. С одной стороны, на элементарном уровне она должна показывать целостное содержание знания в его важных общих чертах так, чтобы всякий дремлющий талант мог почувствовать влечение к своему предмету, с другой же стороны, ей следует выделять и рассматривать с самым усердным прилежанием в особенности то, в чем прежде и яснее всего может быть усмотрена форма единства и взаимосвязи науки, как и то, что на том же самом основании одновременно являет собой всеобщее вспомогательное средство для всякого остального знания.

По этой причине грамматика и математика являются главными школьными предметами, и я бы сказал: единственными, в преподавании которых слышны отголоски научности. Вместе с тем, однако, и школа должна с методичностью так упражнять все духовные силы, чтобы они приняли определенные очертания и ясно показали их различные функции; она должна настолько укрепить эти силы, чтобы каждая из них была способна с легкостью в полной мере овладевать некоторым данным ей

предметом. Воздействовать на это, объединяя эти силы простейшими и надежнейшими операциями, и есть задача школ.

Безусловно, ни одна из них, даже и при наилучшем устройстве и руководстве, не сможет достичь во всем равного совершенства, но каждая завоевывает большие преимущества либо в одной, либо в другой из этих частей. И тем более никак нельзя упускать из виду эту общую цель – с тем, чтобы каждая школа на пути к соответствующей ей виртуозности была бы способна охранить себя от порочной односторонности; и тем настоятельнее потребность в высшем всеобщем управлении, чтобы каждое такое учреждение в полной мере приносило бы пользу для научной области, которую оно только способно предложить.

В академии, напротив, мастера науки объединяют свои усилия; и пусть и не все могут быть ее членами на одинаковый манер, но каждый по меньшей мере должен ею репрезентироваться; и среди членов и остальных ученых мужей с достойными именами, складывается настолько живительная взаимосвязь, что труды академии действительно могут рассматриваться как их общее произведение.

Каждому нужно стремиться к тому, чтобы принадлежать этой взаимосвязи, ибо тот талант, который кто-то образует в себе самом, не имел бы значения для науки без добавления остальных. Поэтому и

образуют все они некоторое целое, поскольку ощущают себя как одно благодаря живому чувству и ревностному служению делу науки вообще, а также благодаря пониманию необходимой связанности всех частей науки.

Но именно поэтому и вновь разъединяются они на различные подразделения, ведь каждая ветвь знания нуждается и в некотором еще более тесном объединении ради его основательной и целесообразной переработки. Чем тоньше и многообразнее это разветвление и чем живительнее при этом единство целого, не потерявшее себя в некоторой форме, так что во всяком отдельном сопричастность прогрессу целого и усердие к своему особому предмету взаимно подкрепляет друг друга и, следовательно, легче всего поддерживается теснейшая общность между различными частями науки в лоне академии, – тем совершеннее учреждение целого.

Как много академий должна иметь Германия в соответствии с этой идеей? Одну, в крайнем случае, две: одну северную и одну южную, которые, однако, должны пребывать в теснейшей связи друг с другом и повсеместно пускать дочерние отростки – отчасти там, куда естественным образом стекаются ученые мужи всякого рода, отчасти там, где место оказалось превосходно подходящим для некоторой особенной научной области. Пока такого объединения, к которо-

му все стремится по самой природе вещей, еще не произошло, наши раздробленные ученые общества могут рассматриваться лишь как обломки и лишь через оживленнейшие сношения друг с другом способны сохранить до указанного момента, который, возможно, уже не так далек, такое свое состояние.

С этим воззрением на школы и академии согласуется и система работы этих учреждений. Путем публичных экзаменов школы объявляют конкурсы, имеющие исключительно гимнастический характер, и могут лишь показать, насколько интеллектуальные силы натренированы для работы со знанием. Заниматься литературным производством как таковым, однако, им вовсе не подобает, ибо не должно публиковаться ни что из того, что не оказывает содействия продвижению науки.

Поэтому в программах или проспектах их директоров неизменно усматривают несоответствие – и в тех случаях, когда они вообще не заслуживают того, чтобы их составлять, и в тех случаях, когда уделяется в них внимание прежде всего тому, что для публикации никак не подходит. Поэтому во многих отношениях превосходным знаком школы является то, что таковая продукция изготавливается вовсе не ею. Напротив, именно от каждой академии требуется породить труды, причем не огромные и охватывающие целое, или даже революционные книги, но собрания сочинений, освящающие

отдельные, еще не исследованные предметы, излагающие собственные открытия, раскрывающие и проверяющие только что изобретенные методы.

Ибо именно делом академии является содействие наукам, уже достигшим известной степени обширности и достоверности путем многочисленных небольших исследований; и чем больше содержательности и взаимосогласованности показывают они в своих трудах, тем большие заслуги им приписывают. В том же смысле требуется от академии в решениях ее задач обращаться за помощью к тем, кто не принадлежит ее центру: частью в таких отдельных случаях, когда не может быть произведено достаточно опытов, или же тогда, когда требуются исследования, невозможные в каком-то произвольном месте, — и поэтому действительные ее члены справедливо исключаются из участия в конкурсах, — частью же для того, чтобы выяснять, кто из еще не принадлежащих ей серьезно и успешно занимается научными предметами в отдаленных областях, чтобы время от времени включать достойных товарищей в свои ряды.

Но что же есть тогда университет — меж ними двоими, школой и академией? Можно было бы предположить, что обе последние без остатка охватывают все научные учреждения, и университеты оказываются среди них совершенно лишними. Так, конечно же, судят многие из нас, но вряд ли в подлинно немецком

духе; ведь этот взгляд господствует в некотором другом народе, который, чем больше он консолидировался в себе самом, тем больше из него уходило то, что выглядело подобно университету, и ничего не осталось кроме бесконечного числа школ и академий в их разнообразнейших формах. Но только при этом очевидно не замечают один весьма существенный пункт. В школе получают лишь сведения как таковые; школы лишь предваряют пробуждение взглядов на природу познания вообще, научный дух, способности к открытиям и собственным комбинациям, но все это не входит в само школьное образование. Академии, однако, должны предполагать наличие всего этого у своих членов; лишь исходя из центрального основания некоторой общности и благодаря его осознанию стремятся они развивать науку; об этом говорит вся их организация, даже если она и не находит повода заявлять об этом в явной форме; но ведь и это может осуществляться лишь некоторым взаимосогласованным образом. Какими же пустыми должны были бы быть труды академии, если бы она всякий раз обращалась к одной лишь эмпирии и не задумывалась бы о принципах в каждой науке! Насколько же пустой была бы сама мысль о совместном содействии развитию всех наук, если бы в свою очередь эти принципы не были бы взаимосогласованы и не образовывали бы *единого* целого! И насколько жалкими были бы рас-

суждения членов академии, если бы среди них не было единства по поводу всех этих принципов.

Итак, очевидной предпосылкой является то, что каждый член академии находит взаимопонимание между ним и остальными по поводу философских принципов его науки, каждый исследует свой предмет в философском духе, и именно этот последний – во всех предметах равный себе – дух в брачном союзе со всяким отдельным своеобразным талантом только и делает его подлинным членом объединения.

Должен ли этот дух нисходить на человека внезапно как сон? Должна ли научная жизнь возникать из ничего, отличаясь в этом от всего остального, возникающего через его порождение другим? Почему лишь она одна в своих первых нежных выражениях не должна нуждаться в какой-либо заботе и каком-либо воспитании? Здесь-то и кроется сущность университета. Ему-то и вменяются эти задачи порождения и воспитания, и этим образует он переходный пункт от этапа, в котором через передачу сведений и собственно обучение молодежь возделывают для науки, к этапу, когда человек в расцвете сил и полноте научной жизни отныне сам проводит исследования, расширяет и приукрашает область познания.

Университет, следовательно, преимущественно имеет дело с введением в некоторый процесс, с надзором над его первыми ступенями развития. Но ведь это, не

больше и не меньше, есть совершенно новый процесс духовной жизни. Пробудить идею науки в некоторых более благородных юношах, уже вооруженных разного рода сведениями, помочь ей овладеть ими именно в той области познания, которой он хотел бы посвятить себя с особым рвением, так что для него становится естественным рассматривать все и вся с научной точки зрения, усматривать во всяком отдельном не только его само, но и его ближайшие научные отношения, вводя его в великую связь в неизменном отнесении к единству и всеобщности познания с тем, чтобы научились они в любом размышлении постигать основоположения науки, и именно благодаря этому постепенно вырабатывать в себе самую данную способность исследования, открытия и изложения, – вот в чем состоит дело университета.

На это указывает и его собственное название, ибо именно здесь собираются не просто многие – пусть разнообразные и более высокие – сведения, но должна быть представлена целостность познания благодаря тому, что принципы и равным образом структура всякого знания наглядно представлялись бы таким способом, чтобы из этого возникала способность обращать свои усилия во всякую область знания.

Именно этим объясняется то короткое время, которое каждый затрачивает на университет в сравнении со школой; речь не о том, что для изучения не

всего, а части требуется меньше времени, а о том, что научиться учиться – можно быстрее; ведь собственно проводимое в университете время есть лишь *один* момент, *один* акт, который как раз и пробуждает идею познания, высшее сознание разума как руководящий принцип человека.

На это указывают все те особенности, которые университет отличают, с одной стороны, от школы, с другой – от академии. В школе по закону наименьшего сопротивления переходят от чего-то одного отдельного к другому и мало озабочены тем, постигает ли каждый еще и нечто всеобщее. В университете, напротив, все очень пекутся о том, чтобы в каждой области как необходимейшее продвигалось бы энциклопедическое, всеобщее рассмотрение той или иной сферы и взаимосвязи, которое и становилось бы основанием всего преподавания.

И главные труды университета как такового суть учебники, компендиумы, конечная цель которых состоит не в исчерпании и обогащении науки по отдельности, – где при отборе не получают предпочтения ни легчайшее, ни труднейшее или редчайшее, – а в служении более высокому воззрению, в систематическом изложении, где выделяется именно то, что понятнее всего представляет идею целого, и то, благодаря чему всякая сфера и внутренняя связь получают наибольшую наглядность.

Далее, в академиях наибольшее значение имеет то, что отдельное разрабатывается с максимальной точностью и является правильным в области всех реальных наук; напротив, чистая философия, спекуляция, обращение с единством и связью всех видов познания и природой самого познания полностью отступают на второй план.

Но, конечно, это не является чем-то незначимым для реального знания или даже самим по себе негодным и ничтожным. Ведь сколько ни утверждай обратное, всякое отдельное знание неизменно покоится на таком всеобщем; без спекулятивного духа не существует и порождающей науку способности; и все это настолько взаимозависимо, что тот, кто не образовал в себе никакого определенного философского типа мышления, не породит самостоятельно и ничего дельного и самобытного в области науки, но всегда — осознанно или неосознанно, даже и там, где открытия вызваны его удивительным инстинктом, — будет зависеть от некоторого спекулятивного направления разума, который со всей очевидностью проявляется, возможно, лишь в других.

Кроме того, всякий философский тип мышления, как он выражен в языке, в методе, в способе изложения, присутствует во всяком научном произведении. Но именно потому и отступает здесь философия на второй план, что если развитию наук должна оказы-

ваться общая поддержка, то все чисто философское уже должно быть приведено к истинному состоянию, так чтобы уже почти и нечего было больше об этом сказать.

Правда, эта предпосылка, кажется, до сих пор не была до конца обоснована никем из нас, и, пожалуй, не слишком бы много мы и уступили, если бы признали, что подобное полное единение и удовлетворение от предметов философии никогда не может быть доведено до завершенности даже и в рамках *одного* народа, если он действительно серьезно этим озабочен, но осуществляются лишь через поступательное приближение и согласование.

Однако всякая академия делает необходимой такую предпосылку, по меньшей мере, настолько, насколько для нее становится естественным рассматривать как самое главное то, что в данном отношении уже свершилось, а то, что еще осталось совершить, — как менее значимое.

Академия может включать в себя спекулятивное подразделение лишь в том смысле и тогда, когда оно — при условии наличия в рамках *одного* народа лишь *одного* философского типа мышления — выражает единственность того, что в различные эпохи проявлялось разным образом; высвечивает противостоящие друг другу дифференции одной и той же эпохи, что весьма свойственно для философии и все же оказыва-

ется аргументом против философии, и обнажает всю их слабость; короче говоря, тогда, когда посредством исторического и критического исследования того, что уже наличествует в этой области, способствует вышеуказанному приближению и самопониманию нации.

Но все-таки, видимо, академии не приличествует производить самой и самой прокладывать новые пути в собственно философской области. И напротив, является общепризнанным, что в университете изучение философии есть основание всей его деятельности; и поскольку именно эти высшие воззрения преимущественно и должны там преподаваться, причем самым индивидуальным образом, то и излагать их следует в их отличности от всего того однородного, что существует наряду с ними, – и поэтому именно в университетах и между ними имеют место те философские разногласия, на основании которых чаще всего и образуются философские школы.

Итак, университет – в реализации его главной цели – есть нечто совершенно самобытное, по своей сущности равным образом отличное и от школы, и от академии; и лишь внешне – что означает не случайно, но в том смысле, что для всего внутреннего необходимо существует и внешнее, – внешне и столь же необходимо имеет университет и нечто схожее с обеими; ведь в противном случае существовали бы удивительные разрывы в научной жизни отдельных людей.

Научный дух как высший принцип, непосредственное единство всего познания не может освещаться и раскрываться лишь сам по себе, – скажем, как в чистой трансцендентальной философии: призрачным образом, – что многие, увы, уже пытались осуществить, породив привидения и зловещие сущности. Невозможно и вообразить более пустого мышления, чем философия, которая обнажает себя до такой чистоты и ожидает, что реальное знание – как некое более низкое, возникнет и будет получено где-то еще; и не было бы, пожалуй, ничего более бесплодного для науки, чем занимать молодежь в их прекраснейшие годы философией, которая не давала бы никакого определенного руководства для будущей научной жизни во всех ее предметах, но в лучшем случае служила бы для прочищения головы, что обычно восхваляют уже применительно к простой математике. Но лишь в ее живом влиянии на всякое знание, лишь в самой своей плоти, которая и есть, одновременно, реальное знание, философия дает возможность постичь и изложить себя и этот ее дух.

Поэтому в университете преподаются и сведения – отчасти, более высокие, а также иные, которые никак не могут входить в школьный план. Отсюда происходит и доучивание, а университет одновременно оказывается и последней школой (Nachschule). Но в то же время является он и пред-академией (Vorakademie).

Научный дух, пробужденный философским преподаванием, укрепившийся и проясненный благодаря новому восприятию из некоторой более высокой позиции уже изученного прежде, должен согласно своей природе тотчас начать испытания и упражнения своих сил – тем, что исходя из такого срединного положения все глубже внедрялся бы в отдельное, чтобы исследовать, соединять, порождать собственное и, обосновывая его правильность, на деле доказывать достигнутое понимание природы и связь всякого знания. В этом и состоит смысл научных семинаров и практических занятий в университете, которые несут в себе целиком академическую природу. Поэтому оба эти названия вновь обыгрываются применительно к университету, называемому часто и высшей школой, и академией. Поэтому непониманием было бы утверждение о том, что университеты-де не должны иметь такого рода учреждений, принадлежащих будто бы исключительно академиям.

И, как это вытекает из наблюдения его основных черт, в существенной части данное отношение трех различных учреждений, видимо, служит общей цели; и действительно, при их удачном обустройстве и правильном взаимопроникновении – таком, где бы ничего бы не отсутствовало, эта цель будет полностью достижимой.

Однако тем бесплоднее является положение, в котором они не распознают свою область и свои гра-

ницы. Бесплодным является и то положение, когда школы берут на себя слишком много и заигрывают с философским преподаванием ради создания обманчивого впечатления, будто сущностное различие между ними и университетами есть лишь пустая видимость. Ведь ничего так не портит воспитанников для будущей университетской и вообще для научной жизни, как их побуждение к тому, чтобы эту высшую науку, которая есть лишь дух и жизнь и которая лишь в самой малой степени может формироваться внешним образом, рассматривать как некую сумму отдельных предложений и данных, которые будто бы можно добывать и сохранять как прочие школьными сведения.

Пагубно и то положение, когда университеты и со своей стороны воспринимают этот образец, оказываясь в этом случае лишь продвинутыми школами, или когда в своем стремлении к тому, чтобы опрометчивым образом предстать академиями и сформировать в самих себе, словно в парнике, полноценных ученых мужей, через все более глубокое вникание в детали науки пренебрегают собственной обязанностью, состоящей в пробуждении всеобщего научного духа и в придании ему определенного направления.

Пагубно и то, когда академии, захваченные партийным духом, пускаются в спекулятивные дискуссии, хотя столь же вредным является положение, ко-

гда академии – в облачении не слишком-то достоверного реального знания и с высокомерной пренебрежительностью к таким размовкам, которым живой характер преподавательского воодушевления придает впечатление пристрастности, – мало заботятся о том, продираются ли сквозь эти спекулятивные исследования те, кого они собрали для обогащения наук, или же нет.

Но почему же так часто происходят такие недоразумения? Большею частью, конечно, ввиду недостатка внутреннего единства всего того, чем мы обладаем благодаря науке и что у нас есть для нее. Тот, кто живет лишь в *одной* из этих форм научного союза, тот – благодаря предрассудкам и в забвении того, что для него ранее представляли другие формы, – чрезвычайно легко может полагать их ничтожными, свою же форму будет стремиться сделать абсолютной.

Эти предрассудки обнаруживаются повсеместно. Что может быть привычнее ситуации, когда академические ученые смотрят свысока на учителя как на некоего неудачника, обреченного нести тягостное бремя; как на того, кто лишь ради выполнения своего долга вынужден приучать себя к педантичному соблюдению мелочей и кто зажатый в преддверии науки навсегда-де лишен высшего наслаждения ею? Что может быть привычнее, чем ситуация, когда университетского преподавателя они рассматривают как

некоего – пусть мыслящего и более высоко – школьного учителя, который словно находится в их услужении и предназначен для насаждения наук, как их ему передают академические ученые, и для смиренного следования ее движению, словно поступи некой бессмертной?

Так и школьный учитель, в свою очередь, норовит академических ученых ославить как бездельников; они-де меньше трудятся в сравнении с ним для расширения царства наук; и жалуется на хвастливость и неблагодарность университетских преподавателей, которые-де зачастую губят ту лучшую половину из всего того, что было им сотворено.

Университетские же преподаватели, со своей стороны, демонстрируют свое пренебрежение к школьным учителям – как таким, кто не может оторваться от букв и которым дух их собственной науки большей частью остается чуждым; академии же они изображают как – находящиеся на чужом довольствии или достойные жалости – учреждения для назойливых, лишь по недоразумению получивших известность или отживших свое ученых.

И как же это все искажено! Знающий свое дело руководитель ученой школы в противовес тому, что ему всегда приходилось выполнять, должен обладать и даже руководствоваться способностью обзрывать целое, благодаря чему он своей персоной и репрезенти-

рует академию; он нуждается в такой же самой научной рассудительности, в таком же чистом духе наблюдения, как и тот, кто содействует дальнейшему развитию науки, а развитие молодежи, которое он направляет, пожалуй, труднее осуществить, чем какое-нибудь отдельное исследование.

То, как академический ученый в одиноких размышлениях должен взвешивать все имеющиеся результаты, задействовать все предположения и таким образом способствовать новым открытиям; и то, как университетский преподаватель должен, постоянно вращаясь по одному и тому же кругу, уживаться с тянущейся к познаниям молодежью и всеми способами побуждать ее интерес, – все это, конечно, весьма различающиеся занятия, но, исходя из одного, рассматривать другое как нечто гораздо менее ценное может лишь тот, кто не связывает их друг с другом.

С этим никогда не сталкивается выдающийся ученый. Ведь и самый тихий и прилежный исследователь как раз в свои самые счастливые мгновения – в мгновение открытия, которое всякий раз подводит к новому и более живому созерцанию целого, – должен ощутить потребность к живейшему и вдохновленному сообщению и желание попытаться излить себя в духе и на благо молодежи.

И ни один значительный университетский преподаватель, пожалуй, не может сколько-нибудь долгое

время достойно занимать свою кафедру, не сталкиваясь с исследованиями и задачами, заставляющими ощутить то великое значение объединения, которое оказывает любую возможную поддержку и дает опору всякому на его научном пути. Но чтобы все и всегда могли получать это обоснованное и взаимное признание их значения, должна была бы быть учреждена более четко очерченная общность между публичными образовательными учреждениями; образцовые школьные учителя, университетские преподаватели и академические ученые должны сообща возглавить научные дела, и тогда и всех остальных ученых будет все больше охватывать подлинный общий дух их общего предмета.

Происходит ли это, спросите вы? Разве государство не объединяет ученых из всех этих различных классов в рамках управляющих советов, благодаря которым оно и осуществляет задачу публичного образования? Конечно. Но как государственный служащий он объединяет их с другими деловыми людьми – в свойственной для него, но чуждой для самих ученых форме – в целях надзора, благодаря которому все всегда рассматривается преимущественно в его отношении к государству.

Отсюда и проистекает совсем другой взгляд на отношения этих учреждений; и чем больше у таких обремененных чиновничьими обязанностями ученых

перевешивают их задачи государственного служения, тем легче – и вполне естественным образом – переносят они потом этот взгляд на собственную научную сферу действий, оценивая все и обращаясь ко всему в соответствии с тем, как это непосредственно влияет на государство, и как учит опыт, – конечно же, не на пользу духовного совершенствования.

Для всего движения новоевропейского образования характерно, что правительства поощряют также и науки и проводят мероприятия для их распространения так, как это обычно имеет место с искусствами и умениями всякого рода. Но здесь, как и везде, наступает время, когда такая опека прекращается. Разве не должно оно постепенно наступать и в Германии, и по меньшей мере в ее протестантской части, разве не ощущается желание того, чтобы государство предоставило науки самим себе, отдало бы в полное распоряжение ученых все внутренние учреждения, сохранив за собой лишь экономическое управление, полицейский надзор и наблюдение над непосредственным воздействием этих учреждений на государственную службу?

Академии, которым правительства всегда доверяли возможность непосредственно влиять на их цели, издавна ощущали большую свободу и ее благотворное воздействие. Однако школы и университеты, чем дальше, тем больше, страдали оттого, что государство

рассматривало их как учреждения, в которых науки должны развиваться не ради их самих, но ради него; от того, что оно превратно понимает и препятствует их естественному стремлению полностью формироваться по тем законам, которые требует сама наука, опасаясь, что, если предоставить их самим себе, то в бесплодном потоке учения и обучения, ведомого лишь чистой любознательностью и чрезвычайно удаленного от жизни и полезного приложения, будто бы исчезнет скоро и всякое желание действовать и никто не захочет более заниматься гражданскими делами.

Это уже долгое время, видимо, являлось главной причиной того, почему государство столь сильно настаивает на собственном способе обращения с этим предметом. И действительно, если верить речам, которые до сих пор ведутся некоторыми философами, а они умеют увлечь молодежь, нельзя отрицать того, что они удерживают всех своих учеников от гражданской деятельности. Но почему так должно оставаться и зачем приписывать этому преходящему увлечению столь устойчивое влияние? Ведь об этом говорят испокон веков, но и испокон веков эти молодые люди, учась у мудрых учителей, из школ устремлялись непосредственно в залы судов и управляющие палаты для оказания помощи во властных делах. Созерцание и действие, если они и противоречат друг другу, все-таки неизменно действуют рука об руку; отношение

между теми, кто посвящает себя чистой науке, и всеми остальными определяет сам природа, неизменно правильно и соразмерно.

Чтобы навсегда успокоиться и признать, что государство имеет достаточный задел благодаря всем тем преимуществам, которое лишь оно одно и способно приобрести, а также благодаря той мощи, с которой политический талант, где бы он ни находился, всегда сумеет пробиться, - для этого достаточно лишь сравнить огромное скопление тех, кто прошел через школы и университеты, с незначительным числом тех, кто в конечном счете образует теперь академии того или иного народа, и увидеть, как много из последних стали еще и видными государственными служащими.

Когда же, однако, ложными опасениями и основанными на них распоряжениями государство подпитывает эти недоразумения в среде ученых мужей, занятых делом распространения науки, - тогда школы теряют свою основательность, в университетах главные предметы оказываются задушенными множеством второстепенных, академии утрачивают уважение в той мере, в какой они обращаются лишь к непосредственно полезным вещам; государство же само надолго лишает себя существеннейших преимуществ, предоставляемых науками, ведь чем дальше, тем больше, будет сказываться отсутствие тех из них, что способны постигать и осуществлять Великое, цепким

взглядом вскрывать корни и взаимосвязь всех заблуждений.

Рассмотрение университета в целом

Сравнение университета со школами и академиями показывает нам его сущностный характер, в силу которого он с необходимостью занимает срединное положение между обеими, что как раз и должно пробудить в молодежи научный дух и возвысить его до ясного сознания. И это мы принимаем без доказательств, — как оно есть само по себе в его высшей наглядности, — предполагая, что не может быть достаточно одной лишь формальной спекуляции, что ее следует тотчас воплощать в реальном знании.

Недостаточно для гимназических упражнений и некоторого произвольного отбора сведений, как это имеет место в школах. Ведь научный дух систематичен уже по самой своей природе и поэтому не может дорасти до ясного сознания в отдельном, если ему не дана в созерцании и целостная область знания по меньшей мере в ее общих чертах.

Еще менее возможно образование у отдельных лиц всеобщего смысла и особого таланта, образующих единство своеобразной интеллектуальной жизни, если только в университете каждый ни найдет того, что способно возбуждать его особенный талант. Универ-

ситет должен, следовательно, охватывать всякое знание и в том, как он заботится о каждой отдельной ветви, он выражает и его естественную внутреннюю отнесенность к целостности знания, его более близкое или более отдаленное отношение к общему центральному основанию.

Здесь, видимо, допустимо лишь одно отклонение от этого, состоящее как раз в том, что из такого знания предпочтение может быть отдано тому, к чему прежде всего склоняется общий талант нации; отклонение, которое могло бы проявляться лишь в виде университетских занятий, приближающихся к академическим.

Так и должно быть, если лишь одно влечение к науке, без чуждых влияний, организует и упорядочивает университеты. Если же мы их рассматриваем таковыми, каковы они есть, то находим все совсем другим. С точки зрения науки, выглядит в высшей степени неестественно, когда незначительному предоставляется много места; когда внешним образом связывается многое из того, что само по себе не является связанным. Важное, напротив, сокращают или излагают как новое, как если бы оно только что было обнаружено; многое же рассматривают так, как если бы оно вовсе и не предназначалось для тех, в ком есть желание развить в себе научный дух, а для тех, которым он навеки должен остаться чуждым.

Дух этот, очевидно, раскрывается не во всех тех, кто имеет изрядные способности и склонности к собиранию значительных массивов сведений и в некотором смысле – к их переработке. Поэтому уже в гимназии следует принимать лишь избранные юные натуры и в свою очередь лишь некоторых из них надо посылать в университет; но поскольку гимназии суть лишь подготовительные учреждения и не предназначены для того, чтобы самим выявлять этот образ мыслей, то не способны они и судить определенно и достоверно о степени развития способностей к науке. Об этом они заключают исходя из желания и легкости, с которой воспринимаются предложенные сведения, из более или менее проклянувшегося пристрастия к их научному содержанию.

Но все это весьма обманчиво, и самые надежные признаки всего этого как раз менее всего могут быть подведены под формально-значимый образец. Как часто обнаруживаются удивительное прилежание, огромное желание и любовь, где лишь знаток отличит нечто совершенно бессознательно-животное при почти полном отсутствии духа и таланта. Ведь в некоторых случаях как раз в это решающее время распускается пустоцвет, который столь легко принимается за нечто плодоносное.

И наоборот, если школа в своем суждении стремилась бы взять за правило максимальную строгость, то

многие, развитие которых несколько запаздывает, были бы опрометчиво лишены дальнейшего попечения!

Короче говоря, является неизбежным, что в университет попадают многие из тех, кто является собственнно непригодным для науки в ее высшем смысле, причем они даже образуют большую часть, ведь и действительно это гораздо менее вредно, чем если бы один-единственный великий и решительный талант был совсем лишен благотворных воздействий этого учреждения.

Мысли же о том, чтобы уже в школе или при ее окончании устанавливать разделение между теми, кто способен к высшему научному образованию, и теми, для кого предназначена некоторая нижестоящая ступень, и учреждать для последних собственные учреждения, где бы без философского руководства университета они точно так же получали бы дальнейшее образование в рамках определенного им предмета познания, более традиционного и в большей степени направленного на изучения ремесел, — этой мысли страшится и ужасается всякий, кто принимает живое участие в образовании молодежи.

Не в такое время живет он, когда любая аристократия должна исчезнуть по самой природе вещей, но в такое, когда только и следует ее пестовать и расширять. Или же полагают, что те юноши, которые достигли лишь некоторых успехов в школьном образо-

вании в то время, когда и себя самих они понять пока не в состоянии, должны-де сами выносить суждение о таком их умалении и не тянуться более к величию науки? Таковые и действительно полностью заслуживают стать отверженными и обесчещенными.

Нет, нужно разрешить им всем вместе – как наиболее отличающимся, так и менее светлым умам – пройти через решающие испытания, которые и проводятся в университетах с тем, чтобы пробудить в юношах их собственную научную жизнь, и лишь в том случае, если они не сумели достичь всех своих высших целей, то словно само собой большинство из них займет место ответственных и дельных работников на некоторой нижестоящей ступени.

И в таковых у научного союза есть большая нужда; ведь даже малое число действительно руководящих и образующих умов способно приводить в действие изрядное число органов.

Поэтому университеты должны обустроиваться так, чтобы они одновременно являлись и более высокими школами с тем, чтобы способствовать дальнейшему развитию тех, чьи таланты, если они сами отказались от высшего достоинства науки, можно было бы все-таки использовать для той же самой науки. Причем это не должно получать внешних отличий в выделении им особого предмета, ведь и оба класса учеников не имеют между собой внешних различий,

но должны быть отделены друг от друга лишь посредством самих их свершений.

В еще большей степени, однако, государство испытывает потребности в таких умах второго класса. Оно может легко осознать, что в каждой ветви высшие задачи с успехом могут быть доверены только тем, кто проникнут научным духом, и будет стремиться заполучить и большую часть тех нижестоящих талантов, каковые, даже и лишенные этого более высокого духа, приносятся ему своим научным образованием и накопленными сведениями. Поэтому по той же самой причине оно вынуждено заботиться о том, чтобы университеты являлись в том числе и специальными школами для изучения всех тех – используемых на службе государства – сведений, которые, прежде всего, связаны с собственно научным образованием; и если этот научный дух и не является необходимым для данной области, все-таки было бы естественным, если бы и здесь избегали формального различия.

Это до поры является нормальным и должно рассматриваться не как злоупотребление или как осквернение чистых научных учреждений, а напротив, как превосходное, поскольку таким образом ведь и в больших массах образованных людей, насколько это каждому по силам, возможно пробудить нечто в смысле истинного познания; поскольку у тех, кто

прошел такую школу, должно отложиться по меньшей мере чувство зависимости накопленных там сведений от более высоких научных устремлений; и поскольку эти образовательные учреждения благодаря их связанности с учреждениями чисто научными обязательно остаются более восприимчивыми ко всякому усовершенствованию на службе у государства и более живыми сами по себе.

И в этом, бесспорно, и состоит сущность немецких университетов, каковыми они уже долгое время действительно являются. Если же правительства время от времени политическую составляющую этих учреждений начинают принимать за их главную часть, которой-де в каждом спорном случае собственно научное должно уступать, то это является весьма вредным недоразумением; если же они стремятся еще и к тому, чтобы вообще избавиться от формы университета и все общеобразовательные школы непосредственно связывать со специальными высшими школами, где преподаются различные предметы для государственной службы, тогда это является печальным знаком недооценки значения высшего образования для государства, а также того, что чистый механизм предпочитают самой жизни.

Ведь там, где государство разрушило бы университеты – средоточие и питомник всякого познания – и затем попыталось бы разъединить все единые науч-

ные устремления, то можно не сомневаться, что итогом или по меньшей мере произвольным эффектом такого опыта стало бы подавление высшего и наиболее свободного образования и всякого научного духа, что неминуемо привело бы к преобладанию ремесленного образования и плачевной ограниченности во всех предметах.

Необдуманно действуют или же заражены порочным немецким духом именно те, кто предлагает преобразовать и распылить университеты на специальные школы; ведь в каждой стране, где таковая форма отмерла бы сама собой, или же там, где – вне всяких препон со стороны правительства – еще не возникло подлинных университетов, но всё всегда оставалось бы на уровне простой школы, наука, безусловно, оказалась бы в упадке, а дух бы опочил.

Но как именно – при том условии, что государство не преступает границы правомерных воздействий, осуществлять которые позволяет ему наука, – должно формироваться обучение в университете, можно легко распознать, рассмотрев любое указанное, пусть даже и посредственно организованное учреждение. Наиболее общее есть как раз то, что является общим для всех, и все начинают с этого, разделяясь лишь позднее, приступая к изучению области особенного, после того как в каждом проснется его своеобразный талант, а вместе с ним – любовь к предмету, в котором этот

талант отличнейшим образом и способен себя проявить.

Все, следовательно, начинается с философии, с чистой спекуляции, что, с пропедевтической точки зрения, относится к переходу от школы к университету.

Однако жизнь всего университета, процветание всего его дела основаны на том, что он как раз и не является пустой формой такой спекуляции, которая насыщает одних лишь юношей; и на том, что из непосредственного созерцания разума и его деятельности развивается понимание необходимости и умножения всякого реального знания – с тем, чтобы с самого начала уничтожалось бы мнимое противоречие между разумом и опытом, между спекуляцией и эмпирией, и таким образом не только бы стало возможным, но и одновременно порождалось бы – пусть даже еще запеленатое – подлинное знание.

Ведь даже и без определения значения различных философских систем все-таки является очевидным, что в противном случае не было бы вообще никакой границы между философским и всем остальным обучением, и из обучения философского не вытекало бы совершенно ничего, даже и знаний о логических правилах и об аппарате понятий и формул, значение и происхождение которого осталось бы тогда непонятым.

Итак, философия предоставляет перспективы выхода в обе великие области природы и истории,

и наиболее общее для них обеих соответственно и должно изучаться всеми.

Главные идеи как высшей филологии, в той степени, в какой в языке получают выражение все теоремы познания и его формы, так и учения о нравственности, в той степени, в которой в нем излагается природа всякого человеческого существования и действия, должны проникать во всякого, даже если свое особое образование он более склонен искать в области наук естественных; так, никакая научная жизнь недоступна тому, кому остаются чуждыми идеи природы, знания о ее самых общих процессах и сущностных формах, о противоположности и связи в области органического и неорганического.

Поэтому каждый должен понимать и сущность математики, землеведения, природоведения и природоописания. Но чем больше каждый погружается в особенное, в историческое исследование, в искусство образования государства и человека, в геологию и физиологию, тем больше ограничивается он тем отдельным, к которому у него есть призвание; и к этому ограничению и обращается соответственно государство с его особенными институтами для тех, кому надлежит работать над физическим сохранением и совершенствованием граждан; институтами, которые – если они не окажутся совсем уж чуждыми университету и не будут по отношению к нему чинить не-

справедливости, – должны объявить и о своей собственной зависимости от научного исследования природы и истории, а следовательно, и философии, и эту зависимость сохранять.

Но поскольку даже здесь, несмотря на то что в обучении последнему предмету принимают участие многие, на кого не снизошел подлинный философский дух, все-таки по возможности избегают внешних различий, чтобы и с этой стороны не разрушить единство целого, ведь во всяком обучении, если оно хотя бы некоторым образом сохраняет верность характеру университета, главной задачей является научное изложение, детали же получают значение лишь в качестве дополнения, наглядного руководства, в качестве грубого материала для опытов в особой их комбинации и изложении, – то и способы обучения с незначительными отступлениями остаются повсеместно одинаковыми.

Мало кто понимает значение кафедрального выступления; но то, что, несмотря на неизменно плохое его осуществление большей частью преподавателей, его удивительным образом все-таки постоянно осуществляют, служит ясным доказательством того, насколько важно относить его к самой сущности университета, как и того, как важно прилагать усилия к тому, чтобы всегда сберегать эту форму для тех немногих, кто способен их время от времени правильно

проводить. Можно было бы даже сказать, что истинная и особенная польза, которую приносит университетский преподаватель, непременно находится в прямом отношении с его умением обращаться с этим искусством.

Всякое умонастроение, как научное, так и религиозное, образуется и совершенствуется лишь в жизни, в общности многих. Излучаясь из более образованных, более совершенных, оно поначалу лишь побуждается в новичках, пробуждается из дремоты; благодаря взаимообразным сообщениям оно возрастает и укрепляется в тех, кто является равным по отношению друг к другу. Но поскольку университет в целом как раз и представляет таковую общую научную жизнь, то в особенности лекции оказываются ее святилищем.

Следует полагать, что именно беседа могла бы лучше всего пробудить дремлющую жизнь и вызывать первые движения, как это еще и сегодня воздействует на нас в достойном удивления древнем искусстве того же рода. Это может происходить и между двумя людьми, или же там, где от целого множества может быть выставлен его надежный представитель, или если отдельные люди наслаждаются чтением превосходных письменных произведений и, как бы воспроизводя через себя самих, их переживают. Правда, это, пожалуй, не может быть осуществлено среди

многих людей и в новое время, ведь, несмотря на столь многие всё новые попытки, в области науки беседа так и нигде не развилась во всеобщую форму обучения, но повсеместно утвердилась связывающая речь. И легко понять, почему.

Наше образование является гораздо более индивидуальным, нежели образование древнее, и поэтому и беседа стала гораздо более индивидуальной, так что никакое отдельное лицо не может быть представлено в качестве ведущего беседу от имени всех остальных, и беседа в этом случае превратилась бы исключительно во внешнюю, лишь сбивающую с толку и раздражающую форму. Однако университетское кафедральное выступление, в котором прежде всего идеи надлежит доводить до сознания, должно в этом отношении все-таки сохранять природу древнего диалога, пусть даже и не его внешнюю форму; в нем следует стремиться к тому, чтобы со всей ясностью высвечивать, с одной стороны, общностное внутреннее слушателей: как то, чем они не обладают, так и то, чем они неосознанно владеют; с другой стороны, внутреннее преподавателя: его обладание данной идеей и ее деятельностью в нем.

Два элемента поэтому являются необходимыми в данном виде выступления и образуют его собственную сущность. Первый я бы хотел назвать «популярное»: это – изложение предположительного состоя-

ния, в котором и находятся слушатели; искусство указать на недостаточное в данном состоянии, а также – на последнюю причину всего, что отсутствует, составляя незнание. Это есть подлинно диалектическое искусство, и чем строже его диалектичность – тем оно популярнее.

Другой элемент я хотел бы назвать «продуктивное». Все произнесенное преподавателем должно возникнуть перед самими слушателями; он не должен рассказывать о том, что он знает, но должен воспроизводить свое собственное познание, само это действие – с тем, чтобы слушатели снова и снова накапливали не только сведения, но и могли непосредственно созерцать и деятельность разума в его порождении познания и, созерцая, ей подражать.

Главным пристанищем этого искусства читать лекции, правда, является философия, т.е. собственно спекулятивное; но всякое обучение в университете должно быть им проникнуто, ведь повсеместно в этом и состоит собственно искусство университетского преподавателя. В нем должны быть объединены две добродетели: живость и воодушевленность, с одной стороны. Его воспроизведение должно быть не чистой игрой, но истиной; так, всякий раз, когда, читая лекцию, он созерцает свое познание в его происхождении, в его бытии и становлении, всякий раз, когда он

описывает путь от средоточия науки до ее пределов, – все это он должен еще и действительно осуществлять.

Ни один истинный знаток науки не делает это как-то иначе; ни одно повторение не возможно у него без того, чтобы его не оживляла некоторая новая комбинация, не влекло бы какое-то новое открытие; обучая, он неизменно будет и обучаться и, выступая перед своими слушателями, будет неизменно оживленным и поистине продуктивным.

Не менее необходимы преподавателю также ясность и вдумчивость, чтобы сделать понятным и успешно усваиваемым то, что порождает воодушевление, чтобы постоянно осознавать свой контакт с новичками, чтобы он говорил ни как будто бы лишь для себя, но действительно – для них, действительно доводил бы до их понимания и укоренял бы в них свои идеи и комбинации, порождая в учениках не только какие-то смутные предвозвестия о величии знания, но и само таковое знание.

Ни один университетский преподаватель не сможет принести подлинной пользы, если он совсем лишен хотя бы одного из этих превосходных свойств; и действительно, здоровая полнота учреждения состоит в том, чтобы заменять другим какого-то преподавателя, прекрасно отличившегося с одной стороны, но – как это бывает свойственно человеку – лишенного второй способности.

Обе эти добродетели лекционного искусства суть его подлинные опоры и не сводятся к накоплению литературы, которая полностью бесполезна для начинающего и, напротив, должна представлять в письменном виде, а не сообщаться устно; из этих добродетелей проистекает подлинная ясность, состоящая вовсе не в неустанном пережевывании, но в – достойных похвалы – остроте и краткости произнесенного; именно из них проистекает настоящая живость, а вовсе не из богатства равно значимых – безразлично, плохих или хороших, – примеров, сопровождающих озарений и полемических выпадов.

Ученость профессора довольно удивительна и уже стала общим местом. И чем больше он ею владеет, тем, конечно, лучше; но даже и наибольшая ученость бесполезна без искусства читать лекции. Если преподаватель надлежащим образом упражняет его на своих учениках, то не нанесет многого вреда, если они иной раз и поймают его на незнании некоторых отдельных моментов в области его науки; они тем не менее будут знать, что наука как таковая ему полностью известна.

И ведь всегда можно надеяться, что молодой преподаватель еще достигнет большой учености; если же он не обладает талантом рассказчика в те годы, когда он наиболее близок своим слушателям, то позднее вряд ли ему уже удастся им овладеть. Чем поможет

ученость, если вместо настоящей кафедральной лекции в наличии имеется лишь ложная видимость, пустая ее форма! Нельзя и помыслить ничего более жалкого. Профессор, который снова и снова считывает и дает под запись одну раз и навсегда записанную тетрадку, весьма и весьма некстати возвращает нас в эпоху отсутствующих типографий, когда ученый муж диктовал свои рукописи одновременно для многих и когда устный доклад был призван заменять книги.

Теперь, однако, уже никто не поймет, почему государство должно платить жалование некоторым людям лишь за полученную ими привилегию игнорировать благотворное воздействие типографии и почему же собственно такого рода муж призывает к себе людей, вместо того чтобы просто предложить им свою мудрость, обычными путями записанную черным по белому в его уже и без того наличествующих рукописях. Ведь при наличии книгопечатного дела, пожалуй, было бы смешно говорить о чудесном воздействии живого голоса.

Но если выступление и имеет надлежащий характер, то все-таки собственно такого рода лекции не должны быть единственным видом общения преподавателя с его учениками. Чопорная замкнутость и неспособность явиться чем-то большим для учащейся молодежи и вне кафедры связаны, как правило, с уже осужденными выше пороками кафедрального выступления. Для того чтобы лектор с пользой учитывал

уровень познания слушателей; чтобы он мог помочь им избежать отвлечений, к которым они проявляют склонность; чтобы удалось ему в своей работе пройти сквозь частые ошибки в понимании, – для всего этого должны пригοжаться и иные виды и ступени их совместной жизни, необходимой для поддержания столь необходимого знакомства с постоянно сменяющимися друг друга поколениями.

Не стоит утверждать, что таковое невозможно ввиду их числа. К лекциям примыкает цепь отношений, в которых с ростом их доверительности естественным образом уменьшается и число участников, где в ходе собеседований, уроков на повторения и подготовки к экзаменам рассказывают о собственных трудах и их обсуждают – даже и в частных контактах учителя с его учениками, где собственно беседа получает главное значение и где он, если сумеет завоевать доверие, благодаря высказываниям избранных и наиболее образованных юношей приобретает все те сведения, которые удивительным образом проникают в массы и их движут.

Лишь благодаря тому, что преподаватель постепенно приближается и использует эти отношения, он способен объединить замечательную уверенность древних, которые в своих беседах друг с другом непременно попадали в нужную точку, с благородной скромностью современников, которые непременно должны

учитывать уже начавшееся и самостоятельно продвигающееся образование всякого отдельного человека.

Мы видим, что этот дар передавать знания допускает и самые разнообразные отличия. Одному больше удаётся усмирение поверхностного знания и побуждение потребности в знании истинном, другому наглядное представление главных черт этого знания; один своей воодушевленностью даёт многим первое посвящение, другой укрепляет их своей рассудительностью; один в большей степени, хотя и обращается, по-видимости, к отдельному и многообразному, все-таки больше способен сводить его к глубочайшему и высочайшему единству; талант другого в большей степени принадлежит отдельному и даёт себя увлечь там, где более уместным представляется указывать на всеобщее и высочайшее.

Всякий, однако, в том случае будет превосходным преподавателем, если – как бы у него ни перевешивало то или другое – он все-таки обнаруживает все необходимое в его живой связи; и университет является таковым только там, где он стремится объединить в себе все эти различия, с тем чтобы всякий воспитанник был в состоянии найти себе такого преподавателя, которого в данных обстоятельствах и его особом развитии желала бы его природа.

Однако каким бы живым и счастливым ни являлась бы эта его устремленность, некоторое полное равновесие, где о всякой потребности заботились бы

безупречным образом, пожалуй, никогда не будет достигнуто ни в одном из таких учреждений. Каждое в то или иное время склоняется к той или иной стороне.

Одно учреждение выделяется более живым побуждением развивать научный дух в целом, но в большинстве предметов, быть может, отстает в отношении основательности изложения отдельного, другое же, наоборот, имеет больше достижений в последнем, нежели в первом; одно превосходит других в чисто философском отношении, другое – в подготовке к академии или как агрегат специализированных школ; одни подготавливают больше воспитанников и при этом предоставляют им самим составлять более свободную, более высокую комбинацию, другие же в большей степени осуществляют руководство ею, но все, что является делом прилежания, вменяют самим воспитанникам.

Ведь уже довольно давно университеты зачастую проявляют тот же самый характер, состоящий в том, что один образует больше спекулятивных умов, которые, однако, принесут больше пользы, если будут заниматься реальными науками где-нибудь в другом месте, другой же долгое время готовит лишь середнячков (*roturiers*), ведь для развития в университете более высокого научного духа требуется уже настоящий талант, каковой есть объединение обеих – уже и опасных – крайностей односторонности, между которыми колеблются все остальные.

Это указывает на то, что и внутри области одного и того же национального образования необходимым образом должно обнаруживаться некоторое множество университетов и что нельзя избежать, насколько это возможно, свободного их сообщения между ними и неограниченного использования каждого из них в соответствии с одной из многих потребностей. То, насколько естественной является такая истина, вытекает, безусловно, уже из того, что университеты занимают центральное положение между гимназиями и академией. Обладать тридцатью восемью из них, как это до сих пор терпела немецкая нация, может, правда, показаться большим несчастьем, а о причине того, почему столь мало людей получают достаточные навыки, спросим: как можно здесь найти правильную меру?

Сначала следовало бы хотя бы определить правильное число гимназий, затем привнести в немецкую среду объединительную мысль о том, что не всякий округ должен и в данном отношении получать для себя нечто особенное, а затем предоставлять самому этому предмету большую свободу, не вносить ничего искусственного и не стремиться сохранить свежесть отжившего, — так постепенно и образуется правильная мера.

При этом все-таки лучше было бы здесь нарушить надлежащую меру, нежели позволить себе размышлять о создании центрального немецкого университета или же о некоем сплавлении в целостность древних

форм, – две крайности, каждая из которых явилась бы величайшим несчастьем, с которым после всего пережитого еще могут встретиться немцы.

О факультетах

Уже сказано достаточно о том, что четыре наших факультета, – теологический, юридический, медицинский и философский, и именно в этом порядке – придают-де университетам весьма гротескный вид.

И этого, безусловно, нельзя отрицать. Если же все-таки важное преимущество связывают с преобразованиями или значительными изменениями подобных учреждений вплоть до избавления от этих форм и введения вместо них каких-то иных, – то не следовало бы все-таки спешить с тем, чтобы учредить нечто весьма произвольное на месте того, что образовалось естественным образом, и именно ввиду этой своей естественности столь долгое время сохранялось; но попытаемся же для начала правильно понять значение форм предшествующих.

Все сказанное прежде должно значительно облегчить такое понимание и всецело его предварить. Ни от кого, кто исходит из нашей точки зрения, пожалуй, не ускользнет, что эти формы, какими бы они ни были гротескными, по меньшей мере весьма репрезентативны, и в них с абсолютной точностью соотносятся

установление и теперешнее состояние университетов. И как раз является очевидным, что настоящий университет, так как его образовывал бы научный союз, сохранился единственно лишь в рамках философского факультета; три других же, напротив, суть специализированные школы, которые либо учреждаются государством, либо, по меньшей мере раньше или позднее, — ведь они непосредственно соотносятся с его сущностными потребностями — принимаются под его покровительство. Философский же факультет, наоборот, первоначально предстает лишь исключительно частным предприятием, подобно тому как и научный союз вообще вступает в отношение с государством как лицо частное; и учреждается лишь благодаря внутренней необходимости и чистому научному духу преподавателей этих университетов, но как факультет побочный поэтому и оказывается среди всех последним. Во всей этой форме отражена, следовательно, история университетов в ее основных чертах.

Факультеты позитивных наук возникли по отдельности в силу потребности в надежном обосновании необходимой практики обращением к теории, к сведениям из традиции.

Юридический факультет непосредственно основывается на государствообразующем инстинкте, на потребности производить из анархического состояния (анархического — постольку, поскольку законодатель-

ство развивается не всегда равномерно относительно культуры) состояние правовое, когда возникает чувство, что это может происходить лишь при стремлении обрести систему полноценных, согласующихся между собой законов и более высокие принципы, согласно которым следует истолковывать законы в двусмысленных случаях.

Теологический факультет образовался в рамках церкви для сохранения мудрости отцов – с той целью, чтобы отделять истину от заблуждений, как это уже случалось прежде, и не утратить ее в будущем; чтобы можно было придать надежное и определенное направление и общий дух дальнейшему формированию церкви и ее учению; и поскольку государство все теснее объединяется с церковью, ему приходится санкционировать данное учреждение и брать его под свое покровительство.

Медицинские школы издавна основывались отчасти на потребности познавать и модифицировать состояние тела, отчасти – на довольно темных и таинственных исследованиях внутренних отношений всей остальной природы к человеческому телу. Поэтому изначально эти школы, с одной стороны, имели в преобладающем числе гимнастический, с другой – магический и мистический характер. Благодаря объединению обеих ветвей эти старания постепенно становились более искусными, и по мере того как они через

наблюдения и опыты проникали в различные ветви науки о природе, и, следовательно, испытывали большую потребность во внешней поддержке, государство было вынуждено вобрать в себя также и их. Так и возникли подобные учреждения.

Следующий факультет, наконец, объединяет в одно тело глубокое, правильное чувство, все дальше и дальше удаляющееся от всего дурного и побеждающее склонности ко всем ремесленническому и эмпирическому, а именно – научный дух, и мы можем сказать, главным образом – дух немецкой нации; все более ясное ощущение внутренней взаимосвязи всякого знания, при этом, естественно, происходит благодаря философскому факультету.

Лишь в нем одном поэтому содержится полная и естественная организация науки, чистая трансцендентальная философия и вся естественнонаучная и историческая части, включающие преимущественно те дисциплины, которые более всего приближаются к средоточию познания; однако ведь и те, что в большей степени проникают в особенное, тоже примыкают к философскому факультету постольку, поскольку они не используются прагматически – на потребу некоторой определенной цели.

Остальные три факультета, однако, обнаруживают свое единство не в познании непосредственно, а в не-

которой внешней задаче, и связывают то из различных дисциплин, что необходимо для ее выполнения.

Одна задача, следовательно, представляет собой то, что сам научный союз учреждал бы для себя в качестве университета; три другие возникают благодаря инородной потребности, причем и чисто научное направление оказывается подчиненным такому внешнему.

Тот порядок, который они наблюдают друг в друге, очевидно, доказывает доминирование государства также и в публичных научных учреждениях; говоря точнее, здесь проявляется отчасти историческое предшествование церкви государству, отчасти же – старая похвальная манера предпосылать душу телу.

Несомненно, весьма скоро, – конечно же, как только благодаря этому сможет установиться от этого подлинная польза – словно само собой осуществится преобразование юридического факультета. Одно лишь знакомство с позитивным сводом законов как таковым, который ведь всякий раз неправомерно рассматривается как стабильный и неизменный, но должен далее преобразовываться научными мужами, вызывает чрезвычайно незначительный научный характер. Здесь, следовательно, должны в большей степени проступить политика и государственная экономика, философское и историческое рассмотрение самого этого уложения.

Но что делать, однако, с другими изменениями, которые тут и там предлагаются и осуществляются? То, что подразумевают, есть произвол и пустые забавы, а то, что действительно происходит, есть, пожалуй, нечто более дурное; и следует опасаться, что не пройдет безнаказанным уничтожение учреждений, которые сами по себе уже суть исторические памятники и которые – пусть это сразу понимают немногие – выражают дух нации.

Если же университет воплотит в себе свободное объединение ученых, тогда то, что теперь объединено в факультете философском, как само собой займет его первое место, в то время как институты, которые поддерживают государство и церковь, тем самым сомкнутся и займут свое подчиненное положение. Если же этого не произойдет, пусть лучше, – заняв даже и последнее место, – обособится от всех остальных факультет философский, чем поставит себя меж другими и тем самым с ними смешается, или, чего доброго, расколется на разные подразделения и потеряет тем самым свое единство, а значит, станет чем-то меньшим, чем три остальные, ведь он есть нечто гораздо большее, нежели они.

Конечно, в этом случае отдельные дисциплины все больше теряли бы их научный характер и приближались бы к прагматическим институтам. И для чистой философии – в этом ее объединении с реальными

науками в одно внешнее целое – столь прекрасное выражение получит свобода либо в большей степени представлять в виде чего-то отдельного самого по себе, либо в большей степени сближаться с реальными науками, нежели выходить за их пределы, – свобода, без которой философия оказалась бы неспособной достичь процветания и показать себя в ее истинном существе, и более не могла бы существовать, если был бы установлен внешний знак подобного разграничения.

Если же на философском факультете сохранится положение, где он соединяет все то, что естественным образом и само собой получает форму науки, то пусть он даже и останется последним. Какой смысл здесь устанавливать очередность? Ведь он все-таки останется первым, поскольку каждый должен осознавать его самостоятельность и признавать то, что он в отличие от остальных факультетов не может распадаться и разлагаться на неоднородное многообразие, если его рассматривать исходя из некоторого внешнего ему отношения.

Он также и потому является первым и действительно господином над всеми остальными, поскольку все члены университета, к какому бы факультету они ни принадлежали, должны быть укоренены именно в нем. Это право он распространяет практически повсеместно – на всех начинающих студентов. Они прежде всего остального экзаменуются и принимают-

ся именно этим факультетом, что является весьма похвальным и значимым обычаем. Представляется, однако, что он должен получить еще большую широту, чтобы, наконец, полностью реализовать свое значение. Конечно же, является порочным, когда учащиеся в самом начале передаются какому-нибудь другому факультету. Каждый должен отдавать всего себя прежде всего философии; но каждый именно в первый год своего академического пути не должен быть отдан чему-то другому.

Древний порочный обычай, когда детей чуть ли не с колыбели определяли в некоторое ремесло, не искоренен и до сих пор; ведь для научной жизни лишь гимназия является колыбелью. Какие же представления о своей будущей профессии, о ее отношении к целостной великой области наук и к непосредственно оплодотворяемой ими жизни начинающий учащийся может там приобрести? Всеобщие взгляды, теологические, юридические, которые, как правило, передаются выпускникам, суть лишь славословия, которые обязаны своей порочностью этому преждевременному определению, и это хищение у университетов едва ли может остаться безнаказанным.

Конечно, нередки случаи, когда некоторое определенное направление таланта раскрывается уже в школе, и по праву можно заявить, что в каждом подобном случае тем настоятельнее сказывалась бы необходи-

мость на некоторое время оставить юношу, если развивать его для науки, в ее всеобщем – с тем чтобы его чувство всеобщего не было бы полностью подавлено доминирующей властью его особенного таланта. Скоро ведь придет время отправлять юношу на учебу в университет. Если давать таким юношам один год, чтобы укрепиться в принципах и создать себе общее представление обо всех поистине научных дисциплинах, то это время не было бы потеряно даром; это самое надежное время для развития их убеждений, любви и таланта; безошибочно откроют они для себя подлинную профессию, приобретая при этом то весомое преимущество, что обнаружили ее самостоятельно.

Не в меньшей степени и все остальные университетские преподаватели должны быть укоренены на философском факультете. В особенности в отношении юридического и теологического факультетов никогда нет достаточной уверенности, что обучение там постепенно не будет все больше и больше приближаться к традиции, подобной ремесленнической; или же оно закоснеет в ненаучной поверхностности, если все преподаватели не приобретут собственного имени и значимости одновременно и на поле чистой науки и этим заслужат себе место преподавателя.

Поэтому следуют не только подбирать таких преподавателей, но и законодательно установить, чтобы каждый преподаватель этих факультетов, пусть он и

не является одновременно членом факультета философского, но все-таки как внештатный преподаватель имел бы обязательства перед каким-нибудь его ответвлением и время от времени читал бы лекции из области чистой науки, которая не находилась бы ни в каком непосредственном отношении с его факультетом.

Лишь благодаря этому можно было бы получить и формальную уверенность в сохранении живой связи этих доктрин с подлинной наукой, без которой эти факультеты никак не могли бы принадлежать университету. И действительно, пожалуй, всякий преподаватель права или теологии заслуживает осмеяния и исключения из университета, если не чувствует в себе силы и желания достичь каких-то собственных выдающихся успехов в поле чистой философии или в учении о нравственности, в философском рассмотрении истории или филологии.

Если же, кстати говоря, уже философскому факультету с успехом удается оставаться единым, — пусть ради известных задач он и распадается на подразделения, но не на строго определенной и постоянной основе, а, если коротко, так, чтобы не было утеряно это понимание его сущности, — то, конечно же, становится ясно, что и всеобщее стремление университета должно быть направлено на то, чтобы не распадаться на чрезмерно определенные отдельные части, т.е. строго удерживать всякого преподавателя в

границах его факультета или даже полностью ограничивать некоторым предметом.

Многое, правда, отпадает и само по себе, если каждый преподаватель соответствующего факультета одновременно принадлежит – пусть даже и не в строгой форме – философскому факультету, в котором и самом секции не отделены строго друг от друга. Но почему надо чинить препятствия преподавателю в том, чтобы вступить ему в область некоторого другого факультета? Ведь границы их простираются друг подле друга и соприкасаются во многих пунктах, так что всегда присутствуют поводы переходить из одной области в другую.

Если ученый это правильно понимает и не довольствуется тем, что заимствует там нужное ему лишь для своего собственного предмета, то, безусловно, надлежит ему и в чужой области порождать и нечто весьма самобытное и многоумное и публично это представлять. Ревность факультетов по отношению друг к другу касательно их областей по праву считается устаревшей и смехотворной. Кому однажды было публично присвоено звание преподавателя наук и чей талант к ней получил признание, тому позволяется развивать его в той области, в какой он желает. Время, в течение которого ученый распоряжается этим даром читать лекции, сильно ограничено; сам же этот дар чрезвычайно уязвим и с большим трудом

может быть полностью подчинен ученому, так что не от всякого времени обучения и не от всего, что в нем было запланировано, можно получить полное удовлетворение и надлежало это использовать.

Именно поэтому и истинный дух университета, даже и внутри всякого факультета, есть предоставление высшей свободы. Предписывать порядок, в каком лекции должны следовать друг за другом, распределять исходя из отдельного область целого, суть нелепости; и даже личное соглашение об этом преподавателей между собой было бы нежелательным. Это неизменно способствует стагнации, и напротив, новая жизнь входит во всякую научную ветвь лишь в том случае, если последняя в свою очередь и по-новому получает разработку в рамках других ответвлений и преимущественно в тех, что и сами больше обращаются к другим ветвям.

Поэтому пусть всякий не определяет и не связывает свой талант таким внешним образом, а сам соединяет с чем-то еще. Люди духовные и прилежные, которым важно и дорого их дело, которым заняты они в университете, не нуждаются в этом отношении в каком-то внешнем законе; в них самих содержат они то, что их влечет к совершению всего того, что они только могут совершить, и самим себе должны они быть законом.

Последний, конечно, еще и слишком своеобразен, чтобы получать его от кого-то другого или становиться всеобщим, поскольку он в точности зависит от от-

ношения учителя к своим ученикам. Чем крепче они к нему привязаны, тем больше они ощущают в их научном стремлении его всеобщую поддержку, тем обширнее будет та область, куда они устремятся под его руководством; чем больше же, напротив, паразит их в нем лишь его особенная виртуозность, тем меньше будут они желать, чтобы он вознесся выше их области, но, напротив, будут смотреть на подобное с некоторым тихим злорадством.

Поэтому в большей степени отвечает духу школы, чем истинному духу университета, когда номинальной профессуре придается чересчур большая значимость. Предписывать преподавателю определенный период, когда бы он снова и снова читал одни и те же лекции, означает сделать ему невыносимым его собственное дело и служит причиной тем скорейшего истощения его таланта. Является также естественным, что тот, кто работает для науки где-то помимо кафедры, должен так организовать себя, чтобы его труды чрезмерно не препятствовали друг другу в случае, когда и что-то иное приходится ему читать на публике с охотой и интересом, особенно там, где подобные обязанности не могут быть сопряжены друг с другом.

Правда, утверждают, что следует-де проявлять заботу о том, чтобы в тот период пребывания преподавателя в университете должно действительно быть им представлено все самое существенное, относящееся

ко всякой области. Это, безусловно, верно! Но поскольку наличествует лишь надлежащее множество преподавателей нужного рода, то нет в этой заботе никакой нужды. И так и должно быть: каждому указывают на особенный предмет, который и вменяют ему в обязанность лишь постольку, поскольку в течении некоторого периода не находится никого, кто бы изложил его в надлежащем объеме. И это указание должно столь мало оговариваться в уставах и получать столь свободную форму, чтобы два преподавателя, избегая пространных объяснений, могли бы взаимно менять те обязанности, которые они на себя взяли. Так каждый сохранит свою свободу, а целое благодаря этому не окажется в пренебрежении, а лишь выиграет от этого.

Итак, чем в большей степени всякий преподаватель таким образом сам будет определять собственный круг обязанностей и по желанию сможет его расширять и сужать, тем скорее смирится он и с гонорарами, которые так часто ругают. Также и это – весьма удивительным образом – оказывается все-таки связанным с духом и сущностью наших университетов, ибо это положение, вопреки всему комизму недавних преобразований, постоянно сохраняется, и пожалуй, можно утверждать, что самые плохие университеты и самые плохие подразделения всякого университета суть чаще всего те, где обходят вопрос гонорара.

Прежде всего это относится к тем немногим учреждениям, в которых университет предстает как возникший из абсолютно свободного частного объединения ученых. Поскольку это, однако, есть его самая естественная и прекраснейшая сторона, то, конечно, и обстоятельства оплаты его занятий никогда не нанесут урон уважению учеников к преподавателю, который никогда не станет развенчивать этого обстоятельства даже и в самом плохом настроении, да и самому ему не представляется это унижительным, ведь одновременно с этим уменьшается и ощущение его зависимости от государства.

Поэтому и государство здесь совсем не может вмешиваться в данное положение; поведение по отношению к более бедным должно определяться хорошим тоном преподавателей. Если же государство пожелает предписать, что или как часто каждый из них должен выступать бесплатно, то это выступит подобием наихудшего устройства малых школ, где более низкое изучается публично, тогда как более редкое и более высокое – на частных уроках. Преподаватели сами гораздо лучше решат, что нужно для того, чтобы время от времени устраивать подобное пиршество для избранного числа.

Сюда же относятся и семинары, которые, как правило, связаны с большинством факультетов, с медицинской, теологической и философской секциями фи-

лософского факультета, и почти повсеместно выглядят как собственные образования, которые с весьма специфическими намерениями были учреждены и получают покровительство со стороны государства. Руководящие ими преподаватели получают за руководство особое жалование, и даже ученики, которые в них участвуют, чаще всего (лишь в клинических учреждениях медиков это не стало обычным) получают значительные преимущества.

Уже выше было упомянуто о том, что через такие семинары университет сближается с академией, а также и о том, что на этих семинарах следует проводить собственные показательные опыты, штудии, сосредоточивающиеся на отдельном, а также исследования учеников. Поэтому наиболее глубокая сфера чистой философии не способна раскрывать здесь ничего из подобного типа, но для нее роль таких занятий должны, собственно, выполнять упражнения-диспуты, каковые имеют своей целью правильное утверждение в философских принципах и во всеобщих воззрениях.

Семинары, однако, примыкают к дисциплинам, которые в большей степени обращены к особенному и представляют собой как раз такое сосуществование преподавателей и учащихся, в котором последние уже выступают как производящие, а учителя непосредственно ничего не сообщают, а всего лишь направляют это производство, поддерживают его и выносят

суждение. То, что на семинарах следует непосредственно изучать нечто более высокое, чем то, что рассматривается в ходе обычных лекций, есть с необходимостью совершенно ложный взгляд. Ведь на всякое непосредственное обучение в университете все имеют одинаковое право. Семинары же по самой своей природе неизменно предназначены для некоторого избранного коллектива. Между ними и лекциями есть еще и собеседования (предположительно коллоквиумы. – *Прим. пер.*), в ходе которых для преподавателя прежде всего становятся зримыми реакции ученика; он различает то, что в преподавании оказалось менее понятным, и возвращает это обратно учителю для переработки и разъяснения; он выдвигает сомнения и возражения, чтобы дать возможность преподавателю их разрешить.

Эта почти сущностная форма, правда, достаточно часто отсутствует, но этот пробел, безусловно, должен показаться довольно ощутимым там, где семинары не являются подобным свободным объединением. Уже это в большей степени обоюдное сообщение, конечно же, производят лишь именно те, в которых действительно живет научный дух. Естественно, достаточно часто отсюда вытекает возможность задавать ученикам работы и требовать от них исследований, благодаря чему привносится больше света в отдельные области их знания, и рассеивается объявший их

туман или может преодолеваться подавляющая их беспомощность в их духовном действе.

Лишь те, кто осознает в себе серьезные, достаточные силы, не устроятся этого полного напряжения пути, и если, следуя ему, они чувствуют в себе потребность и далее сохранять общность со своим преподавателем, в этом случае и организуются семинары.

Итак, собственно, всякий преподаватель, которому удастся ближе привлечь к себе некоторое множество изучающих его предмет, должен передавать руководство их работами им самим, и каждый из них должен сам образовывать свой семинар. На пути этого естественного развития встает государство, когда оно для каждого факультета учреждает один семинар и, оказывая особую благосклонность, передает его какому-нибудь одному преподавателю.

О том, что государство, как правило, назначает его пожизненно, и о том, что, даже если оно и впервые учреждает подобную форму, она, ввиду царящего в Германии уважения к возрасту, передается старейшему – тому, кто при прочих равных условиях, как правило, в наименьшей степени способен к такому более близкому личному общению с молодежью, – обо всем этом мы не желаем даже думать; величайшее и очевиднейшее зло состоит в том, что если какой-то один преподаватель получает такого рода благосклонности, его участие в собственных трудах учащихся благода-

ря этому превращается в монополию и другие оказываются не в состоянии совершенствовать свои отношения с молодежью, а значит, использовать многое из того, что они могли бы сделать.

Точно так же, когда государство предоставляет определенному числу учащихся привилегию участвовать в семинарах, причем часто сразу же по их прибытии в университет, тем самым не только привязывает оно учеников некоторым нечистым образом исключительно к тому учителю, который должен распределять эти привилегии, но и впадает во всеобщий и всем известный порок раздачи пустых поощрений, – которые лишь изредка оказывают действительное поощрение, – и вознаграждений еще до того, как заслуги поимели бы место.

Не должно быть никаких семинаров такого рода, а государству следует отказаться от всякой поддержки, каковую оно предназначило каждому факультету ради этой цели, и всякий преподаватель, который желает и может объединять вокруг себя некоторый более тесный круг учеников ради собственных, поистине научных трудов, часть из них должен направлять наиболее дельным из них. Лишь когда наступает тот печальный случай, когда ни один из преподавателей сам по себе и безо всякого особенного вознаграждения не чувствует никакого призвания к этому, должны высказаться все учреждение в целом или государство.

Возможно, существующие семинары отчасти возникли именно таким образом, отчасти же на основе такой предпосылки; во всяком случае, данная монополия должна отменяться в тот самый момент, как только обнаруживается некоторый конкурент на такую задачу.

Согласно подобным же принципам, а именно тому, что государство ни в коем случае не должно распределять поощрений и благодеяний, но исключительно вознаграждения и почетные звания, следует судить и о всяком распределении стипендий и возвращать их к первоначальной цели, ведь оно – в силу постепенно укоренявшейся мягкотелости – превратилось в распределение бенефиций. Студент не должен получать никакой другой стипендии, кроме той, которую он заслужил уже в школе, и она должна продолжаться лишь до того момента, пока в университете не сможет он заслужить новую, и тогда – нежданно-негаданно для него самого – он не превратится из отличного ученика в плохого студента.

Всякая поддержка должна оказываться лишь проверенным студентам, признанным отличникам, причем знаки отличия должны ей сопутствовать – с тем, чтобы богатый стремился к ней так же, как и бедный, и лишь материальную выгоду охотно оставлял бы другим. Лишь так можно достичь первоначальной цели и избежать унижений и различий, которые нигде не были бы более неуместны, чем в университете.

Все это, правда, предполагает, что преподаватели университета являются таковыми, каковыми они быть и должны. И как можно было положить в основание сущностных учреждений какую-то иную предпосылку, помимо этой? Возможно, могли бы получить развитие и иные вещи, пусть и такие, что потребовали для своего осуществления внешнего принуждения; но только не этот труд, осуществить который способны лишь желание и любовь, а без них то, что могут совершить даже и отличнейшие внешние указы и стату-ты, неизменно есть одна пустая видимость.

Тот, кто ставит себе задачей учреждение универ-ситета так, чтобы он развивался и предлагал услуги преподавателей, едва дотягивающих до среднего уровня и работающих не с полной отдачей, – тот предпринимает безрассудное дело. Ведь то, что долж-но стать духом и его укрепить, то должно и происте-кать из силы этого духа.

Поэтому, конечно, первая забота такова: как за-получить преподавателей, знающих толк и весьма умело распоряжающихся всеми необходимыми си-лами? Мы рассмотрели сущностные ветви универси-тета; но как они наилучшим образом обновляются в каждом наличествующем случае? Опыт, кажется, подсказывает, что именно этот важный пункт еще не урегулирован подобающим идее и сущности целого образом.

Повсеместно обнаруживается просчетов больше, чем в это можно было бы поверить; и невозможно предположить, что количество пригодных к этому делу мужей в своей ничтожности равнялось бы числу действительно отличных преподавателей, которое мы теперь имеем; и даже можно различить целые периоды, в которые в университетах места замещали исключительно превосходные преподаватели, и другие периоды, где работали люди уровня ниже среднего.

Это, видимо, имеет свое основание в том, что правительство, как правило, передает заботу о замещении этих постов *одному* важному государственному деятелю. Если тот проявляет надлежащий талант и подлинное усердие к делу, то он и не ошибется, собирая вместе превосходнейших мужей; если же ему наследует другой, неудачно выбранный, то и его плохой выбор приведет к замене тех отличных преподавателей на ряд людей незначительных. Опасаться следует даже того, что в небольшом государстве, не рассматривающем университет как существующий лишь для собственных, государственных, потребностей, этот осуществляющий надзор государственный деятель будет учитывать исключительно научное качество; но чем больше государство, тем больше – согласно всеобщему и господствующему воззрению и благодаря талантливейшим уче-

ным, которым, конечно, важна лишь наука, – будет оно соблазняться возможностью отбирать лишь тех мужей, которые показали себя друзьями и мастерами искусства направлять любознательность учеников лишь на превратно понятое благо государства. Но, значит, не следует ли попытаться предупредить такое сложно искореняемое ложное направление и эту периодичность, столь вредную для расцвета университета, – тем, что замещение преподавательских мест сделать менее зависимым от *одного* лица. Разве сама природа вещей не свидетельствует в пользу того, что для защиты науки от упадка в выборе самого подходящего ее хранителя и продолжателя должен и научный союз принять значимое участие?

Правда, утверждают, что куратором университетов должен-де необходимым образом всегда являться человек с научным образованием, а не те, кто прежде всего сюда попадают: как правило, члены высшего церковного или школьного советов; но здесь возникает опасение, что все они, чем дольше, тем больше, будут рассматривать себя преимущественно в качестве государственных слуг; желательно, чтобы участие научного союза в этом деле проступало бы определеннее и обособленнее от участия государства.

Правда, и на это можно возразить, что всякому университету предоставлена свобода взять этот выбор, в сущности, в его собственные руки и обновлять

себя на основе самого себя. Ведь и он мог бы формировать приват-доцентов из своих собственных выпускников. И если они через некоторое время достигли бы успеха и приобрели бы заслуги, то государство, безусловно, не обошло бы их стороной; но даже и в этом случае они бы все-таки показали бы большую эффективность в университете, нежели на государственной должности.

Это, однако, мало соответствует природе вещей. Приват-доцент как таковой никогда не превзойдет преподавателя, назначенного обществом, даже и такого, который далеко уступает ему с точки зрения науки; если он неизменно исключается из внутреннего участия в руководстве целым, то теряет он и силу духа и желание: он или подается куда-нибудь в другое место, или позволит увянуть своему таланту невостребованным. Если же государство возьмет на себя обязательство по продвижению и трудоустройству таких мужей, то и такая свобода обучения мало даст для дела науки.

С другой стороны, однако поистине скверным было бы обновление университета исключительно из него самого. Как это бывает в случаях, когда не созревают готовые к прорастанию плоды, если в почву снова и снова попадает лишь то семя, которое и порождено таким же семенем; или когда в семьях, в которых общаются и женятся лишь между собой, зако-

стеневают манеры и исчезает дух, – так и подобного рода университеты приобретают односторонность и черствеют.

Каждый из них, напротив, должен любым способом открывать себя воздействию со стороны другого, и не будет ни у одного из их тогда недостатка в преподавателях, обретающихся и во многих иных научных сообществах, чтобы сообщить воспитывающимся лишь в стенах родного дома о чужих добродетелях и плодах многосторонних отношений.

Правда, самому университету лучше всего известны его потребности – как о возникновении недостачи, так и о возможностях его расширения; и поскольку можно предположить наличие у его членов знакомства со всем примечательным, что волнует отечественные науки, то должно им быть известно также и то, где эту потребность они могут удовлетворить. К сожалению, однако, пожалуй, никто не хочет высказаться за то, чтобы предоставить весь этот выбор одному лишь университету; университеты в целом пользуются такой дурной славой из-за духа мелочных интриг, что, пожалуй, всякий в такого рода учреждениях будет опасаться вреднейших последствий партийных пристрастий, личных связей и тех страстей, что возбуждают литературные распри. Напротив, у правительства и его представителей, которым, конечно, таковые искушения остаются совершенно чужды-

ми, все-таки отсутствует весьма многое из того, что определяет правильность суждения, а если они еще и примеряют масштаб приобретенной университетами славы, они ошибаются еще чаще.

В обоих указанных отношениях место преподавателей чистой философии, чаще всего, видимо, вызывает беспокойство. Ведь эта область более всего отдалена от государства, и ему самому должно показаться чрезвычайно удивительным то, что оно само должно принимать решения о том, кто же является подлиннейшим философом и кто более всего заслуживает покровительств и отличий. И нет ничего более ненавистного в этой области, ничего, что бы столь же сильно ослабляло доброжелательное внимание и взаимное доверие, чем положение, когда правительство принимает ту или другую сторону в делах философии, тем что исключает ту или другую из соперничающих систем или пренебрегает ею.

С другой стороны, однако и сами университеты являют собой место сражений – там, где идут ожесточеннейшие и иногда доходящие до уничтожения бои систем так, что если им самим предоставить это решение, надо будет опасаться дальнейшего ожесточения.

Здесь, видимо, не найти никакого другого средства, кроме именно этой свободы обучения. Тот, кто прокладывает новый путь, тому и следует предоставлять место; кому удастся, после того как он надлежа-

щим образом прижился в университете, добиться и сохранить наибольшие аплодисменты, и побудить таланты к спекуляциям, за ним и следует признавать характер публичного преподавателя, невзирая на его систему, и даже не страшась тех раздоров, которые при известных условиях могут однажды оказаться в этой области неизбежными. Главное, чтобы не было никакого явного и публичного пятна на его нравственной репутации; и к тому же должно быть известно о том, что он разрабатывает какое-то поле и в области реального знания.

Возможно, это есть единственная область, где заявки и ходатайства о месте публичного преподавателя могут осуществляться на конкурентной основе, а решение о выборе среди нескольких почти одинаково квалифицированных конкурентов может быть передано куратором лучше всего тому кругу членов национальной академии, который менее всего вовлечен в партийные распри и, как правило, обладает чистейшим чувством ко всякому таланту, а именно – кругу филологов.

Во всякой иной сфере представляется менее трудным определить то, каким наилучшим способом государство и научный союз должны поделить задачу замещения мест. Для мест, в которых непосредственно заинтересовано государство как таковое, куратор мог бы предложить привлекать тех членов подчиненного ему высшего учебного совета, которые в данной

области приобрели самые высокие ученые степени, – а никто другой и не должен получить голоса в университетских делах, – и выбрать тот факультет, на который следует устроить претендентов на место, с привлечением также и той секции факультета философского, к которой причастны его члены или же на который претендент желает устроиться.

Однако для таких преподавательских мест, которые сильнее всего сохраняют научный характер, самому университету следовало бы предлагать, например, трех претендентов, как они следуют друг за другом согласно большинству поданных за них голосов, среди которых и должен выбирать куратор, с привлечением тех же самых лиц. Представляется, что такого рода учреждение, которое для каждого университета получает собственную модификацию, лучше всего может обеспечивать равновесие и противодействовать большинству дурных влияний.

Однако столь же необходимым является вопрос о том, как наилучшим образом и в нужное время освобождать этих превосходных преподавателей от должности? Поистине, нет более грустной роли, чем та, которую играет университетский преподаватель, переживший себя в качестве такового, ощущающий это печальное обстоятельство и все-таки принужденный продолжать свое дело, чтобы только не оказаться в состоянии нищеты!

Здесь замечаешь, насколько важно государству иметь лишь незначительное число университетов, ибо при этом некоторый преподаватель, и прежде всего наиболее одаренный, еще во время своего наибольшего расцвета может некоторым образом позаботиться и о более позднем времени, так что такое заведение могло бы предоставить каждому заслуженному лицу почетную и приемлемую отставку. Но столь же важным в этом отношении является и правильное и дружелюбное отношение между университетами и академией. Дар преподавания, каковым должен обладать университетский учитель, есть нежный талант, который раскрывается лишь в самые прекрасные моменты жизни; и если бы философы, как правило, не стыдились определить правильное и естественное начало и конец своей порождающей силы, можно было бы легко и по отношению к этому таланту зафиксировать, что он, как правило, берет начало между двадцать пятым и тридцатым годами жизни и стремительно достигает своего прекраснейшего расцвета, и что тот, кто достиг своего пятидесятилетия, может столкнуться с быстрым увяданием этого таланта.

И не только пресыщение, проистекающее из повторений, как полагают, воздействует на такое увядание, ведь опасения о таком воздействии могут появиться у поистине одухотворенного преподавателя хорошо обустроенного университета лишь весьма

поздно; в большей степени сказывается то, что молодежь принадлежит уже совсем другой эпохе, нежели преподаватель, и чем меньше способен он приспособиться к ее мышлению и разделить с нею известные симпатии и радости, тем больше утрачиваются его склонности и умения идти на сближение с этой молодежью; тем недружественнее и неплодотворнее становится его деятельность.

Но разве кто-то утверждает, что тот, кто потерял такой талант, тот и умер будто бы для науки? И что академия будто бы низводится до уровня дома престарелых, если принимает в свои ряды таких людей? Разве не именно в этот период в той же самой степени исчезает из отдельных сложных исследований – зачастую вредящая и опрометчивая – живость фантазии, на место которой заступает рассудительность во всей ее мощи? Разве не она в эти годы производит и самые выдающиеся труды? Ведь чаще всего в свои более поздние годы всякий преподаватель наук в университете – и чем основательнее проводились там занятия, тем ближе были они академическому образцу – страстно желает спокойного продолжения своих исследований и доведения до зрелости прекраснейших плодов его медитаций.

Как правило, нет недостатка и в таких университетских преподавателях, которые ощущают склонность к деловой жизни, как только их преподаватель-

ский дар начинает отцветать. Для обоих типов должен наличествовать почетный и определенный законом переход, если только мы хотим избежать болезни университета, тем более серьезной, чем больше из его членов становятся слишком слабыми для своих задач. И если только желать ему расцвета, то и преподаватель, подобно учащемуся, должен представлять лишь пусть долговременное, но преходящее явление.

Легко увидеть, что естественное движение университетов идет в том направлении, чтобы это постепенно ставшее преобладающим влияние университета вернуть в его естественные границы, и наоборот, дать проступить характеру научного союза в этих принадлежащих университету учреждениях.

Это, следовательно, должно иметь отношение и к его общественной деятельности, и к тем формам, в которых университет или его важнейшие члены, факультеты, должны выступить как одно целое. Постепенно все более четко должно выделиться то, что принадлежит к самой внутренней жизни подразделения университета, из всего того, в чем сам университет или его отдельные члены усматривают лишь свою принадлежность к гражданскому обществу.

Во всем, что относится к первой указанной области, университет должен иметь возможность свободно и независимо формировать свой внутренний порядок и изменять его в соответствии с обстоятель-

ствами; государство же не должно позволять себе никакого руководства, но лишь требовать оповещения и осуществлять надзор – с тем, чтобы никто не преступал границы этой области. Оно может спрашивать отчета лишь о тех привилегиях и имуществе, которые им были предоставлены, и требовать, чтобы всем этим распоряжались признанные им уполномоченные; однако, все-таки и университет должен иметь возможность выбирать. Все остальное есть опека, которая могла бы иметь место лишь в детском возрасте науки и против которой естественное противодействие проявляется тем сильнее, чем более зрелым чувствует себя университет, чем тверже становятся приобретенные им воззрения и чем основательнее стиль его жизни.

Что же касается форм его публичного выступления, образования его прав и порядков, то научный образ мышления нашего времени по своей природе является совершенно демократичным, а сознание настолько живым, что все мужи науки по своему духу подобны друг другу, и задачи каждого из них равно существенным образом принадлежат целому.

И чем свободнее, следовательно, может формироваться его устройство, тем демократичнее будет его образование. И пусть даже это общественное тело конституируется некоторой персональной репрезентацией всех действительных членов или каким-то бо-

лее узким комитетом, дух будет всегда оставаться тем же самым; причем также и по своей форме этот комитет должен формироваться неизменно на основе сводного выбора, с тем чтобы предоставить возможности для более высокой деятельности именно тем, кого считают наиболее способными к тому, чтобы способствовать выявлению и выражению всеобщей воли. Там, где управляющий комитет составляется на основе иным образом определенных качеств, там и в других вещах должно, безусловно, выявиться лежащее в их основании аристократическое умонастроение вместе с многочисленными его пороками – преимущественно через тиранию по отношению к проклевывающимся заслугам, через погоню за внешним почтением, через диковатый ненаучный и надутый тон.

Внутренний демократический образ мыслей не препятствует, однако, тому, чтобы устройство принимало внешне монархическую форму, как мы ее повсеместно и обнаруживаем, – и, безусловно, к большой пользе для университетов. Ведь те, кто постоянно вступает с университетом в отношение, естественным образом обращается к тому, от кого исходит оформление решений, будь оно устное или письменное. Когда за этим следит всего лишь подчиненный чиновник, это чрезвычайно способствует непочтительному обхождению и со всем остальным университетским корпусом.

Поэтому было бы весьма полезно, чтобы *единственное* лицо, которое, *впрочем, внутри* есть лишь первое среди равных, *вовне* наделялось бы сановным достоинством целого корпуса, репрезентируя его в отношениях с государственными органами, отдельными лицами, но прежде всего – в отношении с учащимися. Это есть подлинная идея ректора университета, который в целях сохранения демократического характера целого должен избираться в соответствии с определенными формами и на определенное время из корпуса, который он репрезентирует. Там же, где он назначается государством на длительное время или даже пожизненно и одаряет его и во внутреннем кругу большими прерогативами, чем если бы он был просто первым среди равных, это причиняет ущерб истинной научной свободе; и следует опасаться вреда от широкого распространения таких взглядов, которые бы низводили науку до уровня чистого услужения государству.

Такой же демократический характер должно иметь и делопроизводство на всяком отдельном факультете. Там, где имеется президиум, либо сменяющийся через выборы, либо, что при незначительном числе более естественно, через чередование, там внутреннее равенство всех нисколько не исчезает. Если же где-нибудь за каким-то отдельным лицом – ввиду его возраста или выслуги лет – признаются внутренние преимущества, то целое здесь обязательно будет переживать слабости, проистекающие из возраста и страдать от ограниченности отдельного лица.

О нравах университета и о надзоре

Издавна наибольшие нарекания в отношении немецких университетов вызывает то, что в целом весьма грубые и обременительные для окружающих нравы, в высшей степени неупорядоченный образ жизни занятых наукой юношей, кажется, неразрывно связанным с ее первоначальным обликом и устройством; и что из укоренившегося в ней недостатка надзора над чрезмерно самоуверенной молодежью не только проистекает множество незначительных проступков и нарушений спокойствия, но благодаря этому также оказываются тщетными многие из отличнейших учреждений и даже самое лучшее в университете становится бесполезным – так что даже из-за *этого* одного пункта у многих возникает желание переработать всю ранее существующую форму.

Все смешалось; и то, что составляет предмет этого обвинения, и то, что известно и подвергается клевете под именем академической свободы; и то, чего опасается большинство из тех, кто с ней близко сталкивается и кто ненавидит ее уже по описанию, не будучи с нею знакомым, или же оказался забывчивым и неблагодарным по отношению к своей юности; между тем, для многих других она является как отрадное и дорогое воспоминание о самом богатом и полном энергии периоде жизни; и лишь немногим – посвященным в эту взаимосвязь – она открывается в каче-

стве интересного предмета, где важной задачей является устранение возникающих трудностей.

Эта студенческая свобода имеет две стороны, каждую из которых мы хотим рассмотреть отдельно. Первая есть свобода, которой в отличие от школы покидающие ее студенты наслаждаются в университете, преимущественно имея ввиду его духовно развивающие занятия. При этом они не подвергаются никакому из возможных принуждений. Их ни к чему принудительно не привлекают, и ничто им не закрывают. Никто не приказывает им посещать те или иные уроки. Никто не может упрекнуть их в том, что они отнеслись к ним небрежно или их пропустили. Над всеми их занятиями нет никакого надзора, за исключением того, который они сами добровольно предоставляют своему преподавателю. Они знают то, какие им предъявляют требования ко времени окончания ими университета, и то, какие экзамены им предстоят. Но то, с каким усердием следует им работать ради достижения этой цели, и то, насколько равномерно или неравномерно следует его распределять, — все это предоставляется их собственному распоряжению.

Следует заботиться о том, чтобы у них не было недостатка в учебных пособиях, для все более глубокого проникновения в свой учебный предмет. Но то, насколько хорошо или плохо они их используют, об этом — пусть даже это и известно — никто не может быть привлечен к непосредственному отчету.

Итак, они получают полную свободу предаваться лени и недостойным развлечениям; вместо похвального прилежания могут безответственно растрачивать самое прекрасное время своей жизни. Весьма вредоносным, по мнению некоторых, было бы возвращение многих юношей из университета без какой-либо ощутимой пользы, и, безусловно, выучили бы они гораздо больше, если бы их держали в условиях большей дисциплины и порядка и подвергали бы целительному принуждению. Да, действительно многие обучились бы большему в этом случае; только забывают о том, что не учение само по себе, каким бы оно ни было, является целью университета, а познание; как и о том, что там не наполняют память и не обогащают один лишь рассудок, но возбуждают в юношах воистину научный дух, если только он способен изменяться. Это дух, однако, никогда не разовьется в принуждении; такой опыт осуществим лишь в горении полной свободы духа – совершенно в себе и для себя, но, главным образом, среди немцев и вместе с немцами.

Так же и лишь благодаря любви и вере, через признание в человеке восприимчивости к ним обоим, выполняется закон любви и веры по отношению к этому человеку, – но никак не через насилие или какое-то внешнее принуждение к занятиям; так же и к науке и познанию, освобождающих его от служения всякому авторитету, приходит человек исключительно через воздействующее на него познание и ни через что другое

– благодаря тому, что в нем уже изначально предполагается сила, которая и освобождает его от того, чтобы служить некоторому авторитету, и лишь постольку превращается она в свое собственное познание, и следовательно, сама перестает являться авторитетом.

Или лишь мы немцы, и особенно мы немцы как заклятые почитатели не только свободы, но и своеобразности всякого человека, мы, кто никогда не придерживались всеобщей формы и нормы как знания, так и веры, и не стремились к одной на всех единственной непогрешимой методе, – разве можем мы поступить иначе, нежели признать, что этот высокий дух познания порождается в каждом на свой собственный манер? Как можем мы не признать и не показать на наших учреждениях, что этот процесс никак не может управляться никаким механическим образом, но должен нести в себе, во всех своих частях, некоторый совершенно противоположный характер, а именно – характер свободы.

Поэтому все то, что к нему относится, следует рабатывать лишь в высшей степени деликатно; поэтому мы убеждены, что во все предписания, которые этому способствуют, следует вносить большое разнообразие, и именно поэтому всех тех, кому мы желаем оказывать содействие в познании, следует вводить в тем более высокую общность духовных побуждений всевозможного рода; именно поэтому мы предполагаем, что каждый должен самым надлежащим образом

постигать то, сколько из таковых побуждений он был бы способен вынести и усвоить; именно поэтому мы с удовольствием оставляем место всему, что каждому из них больше подходит, – как первые пути и приметы того, чего мы стремимся добиться, и поэтому не желаем никого ограничивать в том, как он все это смешивает друг с другом и углубляется в каждое из них; и каждому, насколько это возможно в том или ином сообществе, разрешается выбирать прекраснейшие и питательнейшие занятия, а некоторые другие – использовать по желанию и возможности.

Итак, эта часть студенческой свободы внутренне связана с нашими национальными воззрениями на достоинство науки, и следует признать невозможным какое-то иное отношение к тем, кого мы считаем предназначенными к тому, чтобы стать учеными. Не следует избегать доброго совета, и учреждение университетов дает достаточное побуждение к тому, чтобы их раздавать.

Однако даже мельчайшее проявление принуждения, всякое даже еще слабо осознанное воздействие некоторого внешнего авторитета оказывается разлагающим. В рамках механического, схоластического учреждения, пусть даже все преподаватели были бы превосходными и условия были бы одинаковыми, было бы чудом, если бы те, кто действительно способен прийти к познанию, через такое учреждение попали бы в университет; ведь чем сильнее бурлит дух науки,

тем сильнее возбуждается и дух свободы, и оба они оказываются в оппозиции, если от них требуют услужения. Ведь именно те, кого природа предопределила к науке, суть достойнейшие и действительнейшие члены университета; все надлежит согласовывать с ними, все должно с ними соотноситься, и нельзя терпеть ничего из того, что было бы противно их устремлениям.

Мы, правда, видели, что большинство непременно составляют те, кто вовсе не предназначен к тому, чтобы проникать в сердце науки; но столь же верно и другое: самому духу университета противны формальные различия между обоими, ведь исходить следует из того, что у всех есть способность возвыситься до подобной высоты. Поэтому все должны наслаждаться этой свободой и соответственно устранять и иные ограничения, ведь из того, что кто-то даже и не извлекает из нее надлежащей пользы, вовсе не следует, что поэтому он станет ею злоупотреблять как неким искушением к лени и развлечениям. Ведь в каждом университете преобладающее большинство составляют пусть и не гениальные или своеобразно и превосходно развивающиеся, но все-таки верные и прилежные воспитанники. И это вполне естественно. Ведь те, в ком не бурлит никакой более высокой силы, зачастую выраженной дико и беспорядочно, прежде чем пресуществится она из периода брожения в ясность сознания, являются тем более податливыми тому, что представляется им благородным. На них

следует воздействовать силой любви и чести, в них следует поддерживать во всей живости привязанность к дому, государству, профессии, ведь они установили себе за правило подчиняться тому, что составляет закон и порядок.

Если же родители или воспитатели посылают в университет юношей, в которых отсутствует гений, что раздувает огонь свободы как таковой, то пусть позаботятся они хотя бы о том, чтобы прислать их сюда крепчайшим образом связанными всеми этими прекраснейшими узами. Университет в любом случае окажется им полезным. Он предлагает услуги религиозных учреждений, которые должны действовать не только в интересах этих подчиненных членов университета, но в той же степени и на благо благороднейших и превосходнейших, ради того, чтобы крепчайшим образом связывать науку и глубочайшую силу нравственной жизни; он выражает самого себя, выпуская в мир тех, кто получает официальные свидетельства их продвинутого образования, – в тот период, когда каждый начинает пожинать то, что он посеял; своими семинарами, своими конкурсными заданиями, своими поощрениями и знаками почета он придает чрезвычайно мощные стимулы к прилежанию и пробуждению честолюбия.

Если же в университете появляются юноши, которых и этими средствами невозможно принудить к регулярным занятиям, невозможно заставить посещать

курсы силой самой этой свободы, развивающей внутренние желания и любовь непосредственно к науке, — то эти юноши бесспорно не только не могут принадлежать университету, но и не будут преданно трудиться в сфере науки и либо совершенно лишены склонностей к познанию, либо даже склонны к более низкому образу мыслей.

То, что последнее скорее проявится в данном царстве свободы и, возможно, быстрее одержит победу, — нельзя назвать потерей ни в отношении их самих, их нравственности и их личной оценки, ни в отношении общества, которое скорее предпочтет, чтобы те, кто уже вступили на неверный путь, теряли свое время и стремительно двигались к своему разложению, нежели то, чтобы те, на ком покоятся его прекраснейшие надежды, были бы лишены средств эти надежды осуществить.

И пусть видят это те, кто взращивает своих опекаемых на этой богатой и плодородной почве, где совершенно отмирает все то, что не нуждается в условиях своего процветания! Свобода, предоставляемая каждому в осуществлении своих стремлений в соответствии с его желаниями, не может быть ограничена ни государством, ни научным коллективом. Если уже в гимназии составляется характеристика о духовном состоянии воспитанников-новичков, которые способны послужить своим воспитателям словом и делом; если не расширяется сверх меры законная обязанность посещения

университета и не доводится до таких задач, которые вообще никак не связаны с наукой; если не утверждает тот предрассудок, будто университеты суть единственное средство достичь некоторой и весьма умеренной степени пусть и довольно поверхностного духовного образования, то и совершается все то, что может предостеречь от университета тех, для кого он должен был бы оказаться вредоносным.

И все-таки рассмотрим теперь и другую сторону студенческой свободы. Речь идет именно о свободе в сравнении с тем состоянием, которое возникает в университете, когда какой-то ученик вступает в гражданские и обычные цеховые отношения. Нелегко правильно осознать существо этой свободы. Их собственная подсудность очень слабо или вообще не отличается от иных отношений. Также нельзя сказать, что могут быть смягчены наказания студентам за те прегрешения против закона, для которых в рамках других отношений наказание последовало бы неизбежно. Напротив, они не получают здесь никаких иных послаблений, кроме тех, которыми вообще пользуется любая молодежь, ведь они подвергаются еще и наказаниям, которые оказываются жестче обычных, ибо они – по крайней мере по своему замыслу – должны оказать решающее воздействие на будущую жизнь.

Столь же бесполезно обращаться к предмету других известных прерогатив, которыми пользуются студенты как особое привилегированное сословие. Стро-

го говоря, сущность такой свободы могла бы состоять лишь в том, что студенты внутри себя могут держаться свободно от всего того, что в обществе называется сословными манерами, — с тем, чтобы они не привязывались к нравам, которым должен подчиняться всякий, выбравший то или иное сословие, но чтобы в университете самым свободным образом могли бы развиваться самые разные нравы и формы жизни: уличная жизнь и проживание на античный манер; наполнялась бы улица музыкой и пением, пусть зачастую весьма грубыми, как это имеет место у южан; пусть пируют они, как богачи, до изнеможения или же отказывали себе в массе обычных удобств вплоть до цинического безобразия, как это делает беднейший, — не являясь ни первым, ни вторым; самым беззаботным образом пренебрегают своей одеждой или со всем вниманием и вычурностью украшают ее своеобразными завитками; создают свой собственный язык и собственные шумные формы одобрения или порицания; и пусть проистекает из этого многообразия тот превосходный, и отчасти даже публично признанный и дозволяемый дух общности. Ведь все это, да и еще то, что лишь случайным образом обычно связывают с этим духом, бесспорно, является сущностью студенческой свободы.

Если рассмотреть дело подобным образом, прежде всего возникает вопрос о том, почему же это свобода получает столь дурную славу и почему требуют ее

уничтожения? Незначительные безобразия и расточение родительского добра, что имеет место в отдельных случаях, суть мелочи в сравнении с тем, что учиняют молодые наследники зажиточных сословий даже и вне всякого университета. Те малые неудобства для жителей университетского города, которые из этого произрастают, должны рассматриваться как локальные беды, некоторые из которых и так распространены повсеместно, а предупреждение печальных последствий этого рода есть задача отчасти полиции, отчасти должно осуществляться через воздействия преподавателей и начальства.

Если же эта свобода образуется как будто сама собой так, что представляется неразрывно связанной с самым глубочайшим духом университета; если же здесь разнообразие и своеобычность нравов проступает особенно сильно на фоне однородности и бесхарактерности, преобладающих в других сословиях, — то и оказывается она тем самым благотворным противовесом, который не следует стеснять, если этому не препятствуют очень глубокие на то оснований. Надо дополнительно учитывать и то, что в том виде, как большинство людей по всеобщему признанию неохотно подчиняется обременяющим их формам, как более низкие сословия втираются в доверие и выются вокруг сословий более высоких, эти юноши, ищущие истины и сущности вещей и жизни, изначально не могут увидеть ничего, кроме малодушия, инертности, низкого своеко-

рыстия. И разве в противовес всему этому не следует им позволить выразить свой протест столь сильно и столь действенно, как это только возможно?

И все же это поистине чрезвычайно легко осознать, почему таковая свобода должна иметь место и что она образует отношения величайшей важности. В целом – это время, когда человек учится распознавать свой особенный талант, когда он формирует профессиональные навыки и из состояния личной подчиненности, послушания переходит к состоянию самостоятельного существования; и вместе с тем – это время, когда утверждается его характер, его душевный настрой получает определенное направление и развивается устойчивое соотношение склонностей. То, что здесь, следовательно, получает внешнее выражение переход к самостоятельности и становление жизни путем свободного выбора, является вполне естественным, и это проявляется в том или ином виде во всех обстоятельствах.

У тех же, кто отдали себя познанию, таковое развитие не только должно получить наиболее своеобразный вид, ведь иначе они бы остались на более низкой ступени, чем это приличествовало бы их стремлению к познанию. И с тем, чтобы банальное не повторялось, когда ученейшие мужи менее всего способны увидеть, что лежит у них под ногами, – это развитие должно, в свою очередь, стать предметом познания; они определеннейшим образом должны по-

нимать свое собственное становление. Именно поэтому проявляется такая забота о том, чтобы удалить их от семьи, с тем чтобы общность с ней не подавила бы их личную своеобычность. Поэтому удерживают их еще и от контактов с государством – с тем, чтобы они подверглись его великой мощи не ранее, чем они утвердили бы своеобразие собственного бытия, приличествующее познающему.

Все это, однако, было бы напрасно, если бы они некоторое время не находились в положении, в котором полностью были бы предоставлены своему собственному нравственному чувству, где ничто чисто формальное, каковым являются некоторые образовательные навыки, необходимые для общества, к которому они еще не принадлежат, сдерживало бы их склонности; такому чувству, в котором бы они испытали всякий способ и порядок жизни и могли бы увидеть то, насколько мощным способны стать их желание и любовь.

Лишь благодаря этому они в течение этого времени приобретают способности правильно выбирать свое место и образ жизни, отказываться от всех иных связей, кроме сообразных их природе. Те же, кто злоупотребляет таковой свободой, кто не удерживает свое собственное нравственное чувство в таких рамках, которые бы позволяли сохранять свое достоинство, – это, очевидно, те, кто вообще не должен принадлежать университету; кто никогда и не обладал

таковым достоинством, с которым они столь легко расстаются; кого лишь портит университет и для кого нравственность есть лишь принудительный механизм формальной дисциплины и привычки. Ведь тот, кто действительно ищет правды, а другие и не должны быть членами этого заведения, тот уже сам по себе нравственен и благороден; в нем обнаруживает свое превосходное место и познание, которое научает его отбрасывать низкое как недостойное бытия и пустое; и если такой человек и втягивается во всевозможные заблуждения, и именно в этом сила природы узнает себя, как она существует сама по себе, то и заблуждения эти не станут для него чем-то потерянным, и еще в меньшей степени будут они такого рода, что заставило бы перестать уважать его и любить.

Те же, кто не способен к никакой другой, кроме внешним образом привносимой нравственности, не способен и к подлинному познанию, и даже к тому пониманию и образованию, могут приобретать большинство из менее способных членов университета. Если же они также терпят ущерб от того, как раскрывается эта неспособность, то его не следует приписывать тем учреждениям данного заведения, необходимым его подлинным членам.

Но, пожалуй, стоит рассмотреть не только внутреннее, но и в большей степени внешнее этой свободы, не только то, что она значит для характера, но и то, что она значит для нравов.

Нравы суть выражение внутренней нравственности, и поскольку они образуются как нечто общее и как некая норма для многих, постольку они являются и выражением их общей нравственности, делом сознания, которое есть у всякого общества и всякого его подразделения применительно к его отношениям. Если же нравственность становится более чистой, сознание более ясным: то и нравы, и то, что признается пристойным, должны быть не чем-то неизменным, а новообразуемым, и их действительно надлежит образовывать.

Здесь именно и состоит превосходство и своеобычность Германии, заключающиеся в том, что издавна образование нравов не рождалось в формально более высоких сословиях, величие которых, собственно, есть всего лишь один из нравов и обычаев, и поэтому также может стоять под вопросом, но осуществлялось среди тех, кто в силу своих занятий должен был приобщаться к первоизданной образующей мощи познания.

Они, с одной стороны, ввели в своем кругу свободный стиль жизнь, который и распространяется отсюда вверх и вниз; с другой стороны, в их решениях проходит проверку, что из наличествующего или, напротив, возникающего по-новому, заслуживает отклонения или признания.

Те же, кто получают образование в университете, одновременно являются теми, кому в будущем и надлежит образовывать нравы. И разве можем мы то-

гда требовать от них, чтобы они переходили лишь от послушания к послушанию, от подчинения в отцовском доме к подчинению сословным порядкам их будущих отношений? Разве должны они с самого начала и постоянно подчиняться существующим порядкам, которые могли бы формировать и они сами?

Напротив, переход от послушания к их образующему влиянию может следовать лишь за периодом, в котором они чувствовали бы себя свободными от подобного принуждения; в котором каждый, имея перед собой великое многообразие, свободно образуют свои собственные нравы, каковые он найдет уместными относительно его нынешних отношений; и это нужно не для того, чтобы они таковыми и оставались, чего ведь и не происходит, но для того, чтобы он учился тому, чтобы и в отношении к будущим отношениям придавать наличным нравам облик, более подходящий для этих отношений. Поэтому-то университет оказывается одновременно столь необходимым местом встречи людей из самых разных мест; поэтому эта свобода, как она была нами образована, столь эффективно воздействует на то, что у нас как раз в большинстве своем отсутствует, на либеральное выражение своеобразного, в том числе и в коллективной форме.

От наблюдателя не ускользнет то, как студенческая свобода утверждается в качестве эффективного средства достижения этой цели, как и то, как она, особенно когда и познание юношей направлено на

этот пункт, помогает отличать существенное и истинное от случайного и пустого, а также обнаруживать то, что, с одной стороны, происходит необходимо, а с другой – происходит в крайнем случае лишь при определенных обстоятельствах.

То, что юноши поначалу показывают здесь некоторую робость и смущаются, когда их первые попытки в обществе зачастую выглядят несуразными, не является большим несчастьем, и этот недостаток исчезал бы тем более быстро, если бы отношение студентов к обществу в самом университете было организовано правильнее. Учащиеся нуждаются в большей обособленности от всех остальных; они не должны втягиваться в пустоту обычных бюргерских отношений.

С одной стороны, ни один класс людей не может позволить безнаказанно себя изолировать. Правильной мерой и здесь является мера естественная. Если общение преподавателей с учениками настроено на правильный тон, если отличники, которые только и могут здесь участвовать, и со всех остальных сторон ценятся так, что нельзя избежать значительного их влияния на своих спутников, если более старшие осуществляют справедливую власть над новичками, и все это даже и без приближения к сущности студенческой свободы, то и здесь будет достигаться все большая справедливость, и все больше исчезать грубая и необтесанная – по всякому разумному масштабу – сущность.

Действительно! Все это признавая, все еще возносят жалобы по поводу двух великих и сущностных зол, которые сопровождают эту свободу и промолчать о которых было бы несправедливо.

Первое из зол состоит в том, что студенты рассматривают все нестуденческое как одно противостоящее им филистерство¹³ и каждый из них позволяет себе – очевидно наказуемое – его осмеяние. В основе этого доминирующего настроения лежит, однако, нечто действительно подлинное, а именно – противоположность между высшим образовательным принципом, который им надлежит развивать в себе, и грубой, низкой, противящейся всякому образованию массой, которая тем в большей степени навязывает им свое влияние, чем меньше они пытаются показать образующее и живое отношение к данной массе. Презрение и жесткость по отношению к противодействующей им нравственной и духовной грубости следует глубоко внедрять и превратить это в дело чести, чтобы в этом отношении навсегда оставаться студентами.

Если же они полагают, что образовательный принцип можно найти лишь внутри себя, а повсеместно вокруг можно встретить только презренную массу, то это

¹³ Филистеры – филистимляне, древний народ, вторгшийся на территорию современного Израиля и Палестины, а также студенческое выражение для обозначения не студентов и шире – всего мещанского и обывательского. – *Прим. пер.*

всего лишь изливание высокомерия, которое следует подавлять, и есть естественное следствие этой чрезмерной изоляции. Однако в целом всей совокупности этих юношей нельзя отказать в чувстве справедливости; они умеют ценить выражения чести, которые им открываются как таковые. Если только им показывать достаточно благородных примеров в достаточно свободных формах, если заботиться о том, чтобы среди тех, кто им близок, среди их учителей не открывалось бы им большого числа примеров низких, – то и здесь это злоупотребление может быть легко устранено, без потери того, что в нем было полезного.

Другое зло являет собой поединок, который есть в высшей степени естественное и неизбежное явление. Те, кто ищут себя в науке и не переплетают свою судьбу ни с чем иным, оказываются чуждыми государству больше, чем любой другой отдельный человек, и не способны привыкнуть к тому, чтобы рассматривать себя с точки зрения обычного гражданина. И стремясь к тому, чтобы добыть для своего лица высшее достоинство и в своем познании возвыситься внутренне над всеми остальными, оказываются они, принимая во внимание пыл молодости, чрезвычайно раздражительными по отношению к обидам, которые наносят их персоне, и в меньшей степени, чем другие, способны в делах чести признавать справедливость и находить удовлетворение от закона, поскольку последний почти повсеместно предписывает следовать

разъяснениям, которые вновь возмущают раздраженное чувство, а также в меньшей степени признают иерархии формальных званий и соответственно – а также различия во вменении и наказании за обиды, которые они не способны просто спустить с рук.

К этому добавляется и то, что в своей беззаветной преданности науке такая личность получает наивысшее значение, между тем как по другую сторону науки никто не обязан каким-то особым образом их защищать, так чтобы за высшее благо предлагалась бы также и высочайшая цена. Очевидно, что искупление за нанесенные личные обиды представляет собой задачу, которую государство менее всего способно решить, и во всех сословиях проявляется стремление самостоятельно решать этот вопрос.

Все сказанное, пожалуй, проясняет то, что пока существует какое-то сословие, – и, конечно, в рамках университета, – в котором поединок является обычной формой такого самостоятельного решения, ничто другое не заменит этот обычай, и что будущие – как и все прошлые меры – попытки его ликвидировать будут напрасными, пока какими-то другими путями не сблизятся друг с другом законодательство и доминирующее чувство чести.

Трагические исходы являются столь редкими, что можно было бы и гораздо меньше уделять этому внимания, если бы в рамках простых гражданских сословий не господствовал бы панический страх от одной

только мысли о звоне шпаг. То, что поединками все-таки сильно злоупотребляют, невозможно отрицать, пусть даже сам он и выглядит неизбежным. И именно против этих злоупотреблений могут применяться меры, если упрямо не настаивать на отказе использовать все подручные средства под предлогом того, что еще не пришло время отмены поединков.

Предпочтительными представляются гимнастические упражнения, а именно – доведение до высшего совершенства искусства фехтования при условии публичного надзора. В этом случае поединок стал бы гораздо менее опасным. И благодаря тому, что каждый уже своими упражнениями снискал бы себе славу ловкого, сильного и мужественного фехтовальщика, самые умелые из них с легкостью пренебрегали бы требованием удовлетворения за какие-то мелочи, ибо никто не смог бы истолковать это пренебрежение как малодушие, и таким образом чувство чести постепенно приводилось бы в порядок внутренне из себя самого.

Да и многие поводы для битвы отпали бы сами. Ведь и здесь проявляется то, каким опасным является положение, когда, как сказал один древний мудрец, упражняют дух, не упражняя тело. И поскольку в университетах есть столько людей, которые именно это и делают, то как раз из этого и возникает противостояние. Ведь многие, напротив, упражняют тело, не упражняя дух, и из этого образуется затем обострен-

ное чувство чести того сословия, к которому они принадлежат, причем самое суровое и страстное – вплоть до настоящей задиристости.

Если же здесь будет произведено равновесие, то останутся лишь некоторые случаи неизбежных поединков. Правда, и эти случаи не может признавать государство, и даже корпорация университета, если она исполняет судебные функции; но она потеряет право игнорировать поединки, по меньшей мере, к тем, пропускает гимнастические упражнения и бьется, не являясь искусным фехтовальщиком, а также к тем, кто предпочел фехтованию – гораздо более случайный – выстрел. Благодаря этому при надлежащей бдительности, не задевающей слишком сильно чувство чести, этой опасной игре скоро были бы положены возможно более тесные границы.

О наделении учеными званиями

Здесь, несомненно, речь идет о наиболее устаревшей части наших университетов. Схоластическая форма диспутов превратилась в пустое потешное сражение; да и поскольку и ко всему остальному относятся не особенно серьезно, то и доверие ко всем присваиваемым ныне университетским званиям опустилось ниже всякой сатиры. Недоставало лишь еще, чтобы масштаб наивысшей скорости задавался тем, как быстро студент превращается в доктора филосо-

фии. Но самое значительное доказательство этой всеобщей дискредитации состоит в том, что государство зачастую не считает эти звания достаточными даже для того, чтобы без дальнейших экзаменов разрешить их обладателям осуществлять практику в судебных палатах или в медицинских учреждениях, что и в самом деле предполагает такую неудовлетворенность государства университетами, что можно только удивляться, как оно все-таки еще их признает и поддерживает. Только лишь в бывших малых имперских землях и имперских городах, которые сами не имели университетов, – возможно, по малому знанию положения вещей, – еще сохраняется уважение к этим званиям, которое и приличествует их идее.

И все-таки такие публичные присвоения случаются большей частью по велению государства или в отношении к нему. Так бывает, когда некоторый институт не сохраняет ясного сознания своих целей, и следовательно, упускает возможность преобразовать себя постепенно в соответствии с ними. В этом случае, позднее, уже никак не оказать ему помощи, кроме как через большую и радикальную реформу.

И лишь через нее можно вернуть утерянное уважение и к тем ученым степеням, которыми надеется университет.

Подлинное определение ученого звания легко распознать, если придерживаться того, что было сказано ранее. Если будет существовать научный союз в виде

некоего оформленного общества, то должно наличествовать и некоторое оформленное действие, благодаря которому отдельный человек обособляется из массы остальных и принимается в этот союз. Поскольку же в гимназиях это обособление не может происходить в строгой и подлинной форме, ведь в университет должны допускаться еще и все те, кто завоевал в школе лишь предварительное право быть принятым в научный союз, то это действие может осуществляться лишь в результате продолжительной карьеры в университете.

Но само это принятие в союз и решение о присвоении звания связаны теснейшим образом, и последнее может происходить лишь благодаря тому, что посредством такого действия формируется единоголосное суждение тех, кто принимает в этот союз, и тех, кто этот научный союз при этом репрезентирует.

Этим объясняется и форма таких действий в самом общем смысле. Должно быть задокументировано, что отдельный человек воспринял в себя дух науки в качестве принципа; это происходит через собеседование, через диспут, что и побуждает его раскрыть характер своего мышления и показать, к каким комбинациям он способен. В основе всего этого лежит древнее положение, что диалектический вывод должен доказать на деле, было ли произведено нечто наработанное в научном духе или же нет. Но далее следует задокументировать и способность принимаемо-

го в союз к дальнейшему формированию науки. Поэтому он должен доказать на деле, насколько он освоился на некотором отдельном поле реального знания, как и то, насколько он осведомлен как о его прогрессе, так и о потребностях в этом знании; что должно осуществляться через подробное изучение диссертаций или через собственно устные экзамены.

С необходимостью должно случиться так, что как в принимаемом в союз, так и в его судьях, если только одна из партий не затаила злого умысла, образуется совершенно то же самое суждение. Ведь одновременно с продуктом, каковой дает наглядное представление о его состоянии, также и его собственное самоощущение должно развиваться аналогично этому продукту. Окончательное принятие в союз состоит лишь в символических обычаях, которые и завершают это действие.

Итак, дело выглядит абсолютно просто; правда, оно будет гораздо более запутанным при его ближайшем рассмотрении. Ведь в университет попадают и многие из тех, кто пусть и не развились в подлинные члены научного объединения через живое объединение научного духа и таланта, но в силу своего таланта все-таки вобрали в себя множество сведений и достигли умений, тем самым сформировав в себе столь много благоговения и пристрастия к тому, что происходит в собственно научной области, так что можно ожидать, что в приложении своих талантов они будут руководствоваться научным духом. Это – рабочие на

поле науки. Но то, будут ли они рассматриваться как члены союза, и следовательно, пусть и в некотором другом смысле и другим образом, также будут им восприняты, или же, засвидетельствовав их отличия, этот союз лишь рекомендует их своим членам в качестве полезных орудий для определенных предметов, — все это зависит уже от того, насколько строгий или широкий смысл имеет это понятие союза, которое может быть правомерным и в том и другом случае.

Но и среди подлинных членов союза проявляется различие в их отношении к союзу. Именно их талант, как мы имеем обыкновение говорить, может быть более практическим или более теоретическим, и соответственно их образ мысли и образ жизни может выражать характер ученого или характер политический. Последние, как бы они ни были пропитаны научным духом, все-таки в большей степени стремятся к тому, чтобы познанное представить реальным образом, объединить науки с жизнью, а ее плоды перенести в эту самую жизнь, нежели работать ради самой науки и образовывать ее. Но лишь те, однако, кто ставят себе последнюю задачу, занимают наивысшее положение в научном союзе; лишь они занимают должности в университетах и академиях, а если они участвуют в общественных делах, то рассматривают это, так же как и обучение, лишь как второстепенное дело. Лишь они одни суть подлинные доктора, от которых тем не менее в большой мере следует требовать доказательств их

полного знания о состоянии некоторой особенной науки и большого мастерства в обращении с ней.

Именно здесь, на своем месте, должны они испытать свою ученость, причем всегда таким образом, чтобы они постоянно показывали нечто замечательное для данной области. Доктор, который при своем вступлении в это звание не оставит тотчас же некоторого личного отпечатка, приковывающего всеобщее внимание, который не стереть в течение всей эпохи жизни данной науки, – такой доктор собственно и недостоин своего звания. То, что возвышающийся до этого звания ученый пожелает далее связать с таким испытанием для доказательства своего таланта в области образовательной задачи, более всего зависит от него самого, – будет ли это ученая беседа или всего несколько лекций об определенном предмете.

Или же, если он пожелает выбрать форму диспута, которая собственно наименее здесь подходит, ведь только в схоластические времена теологии, из которой эта форма и была заимствована, все могло быть во всем, то этот диспут следует лишь ориентировать на ту цель, чтобы он, как третейский судья собственно спорящих, проявил в себе способность так направлять ход их речи, чтобы предмет стал ясным, и препятствовал бы тому, что они благодаря взаимному непониманию запутывались все глубже и глубже.

Итак, каково же правильное соотношение факультетов в их намерениях присудить эти звания? То, что

эти свидетельства – или по крайней мере самые низкие степени – должны присваиваться самостоятельно каждым факультетом, понимается само собой, поскольку в этом случае речь идет лишь о знаниях, приобретенных в рамках его особой области. То же самое относится и к высшему званию докторов в той мере, в какой оно отделяется от предшествующей средней степени и всякий раз за ним следует. Это, бесспорно, наиболее правильно, поскольку всякий, как только он почувствовал в себе живой научный дух, будет стремиться и к внешним знакам этого превосходного свойства, а то, влекут ли его талант и склонности более к практическому или теоретическому, как правило, решается лишь позднее.

Соответственно, здесь в свою очередь при соискании этого высшего звания имеют дело лишь с областью всякого особенного факультета, и каждый факультет, исходя из этой предпосылки, может самостоятельно осуществлять это присвоение. Однако то, может ли присуждение этого первого звания – поскольку оно одновременно является и принятием в общий научный союз и при этом здесь имеет значение лишь дух и способность познания вообще – быть делом отдельных, и скорее позитивных факультетов, которые лишь через их связанность с факультетом философским могут репрезентировать научный союз, или же, напротив, оно должно осуществляться – пусть не исключительным, но предпочтительным образом – на

факультете философском, – все это, конечно, достойно глубоких размышлений.

Факультет теологический здесь, видимо, лучше всего придерживается того, что требует природа вещей. Самое низкое подтверждение учености он имеет обыкновение заверять лишь свидетельствами; следствия различий между двумя степенями проявляются еще лишь там, где факультет проявляет себя больше как специальная школа, а не там, где он вместе с другими факультетами, в том числе и философским, органическим образом объединяется в некоторый университет. В случае присвоения своего докторского звания, однако, он предполагает наличие философского звания и оставляет возможность философскому факультету самостоятельно представлять эту более низкую степень, конечно, предполагая, что свидетельства получены на самом теологическом факультете.

Очевидно, по меньшей мере, что при этом первоначальном принятии в союз должен быть привлечен также и философский факультет, поскольку никакой другой, кроме него, единственным образом и сам по себе не репрезентирует непосредственно единство научного союза. В рамках самого этого факультета, однако, в свою очередь с некоторыми вариациями проступает то же самое отношение, которое имеет место между ним и другими факультетами, ибо философский факультет именно в себе самом образует не-

кий центр, философию в узком смысле, а по многим внешним сторонам – реальные науки.

Он может выдавать свидетельства о степени лишь в отношении исторических и естественнонаучных сведений; ведь тот, кто обладает лишь сведениями о более высокой философии, не имея научного духа, если отвлечется от того, что о таковых вряд ли кто-либо спросит, то он обладает ими лишь в историческом смысле.

Две эти степени должны, однако, различаться между собой, поскольку все, кто желает, выйдя из университета, связать свою жизнь или с государственным управлением, или с разработкой природных богатств для государства в некотором широком смысле должны образовать в себе научный дух в достаточной мере, и тем не менее могут быть и лишены чего-то такого, что никак не должно отсутствовать у того, что ощущает в себе призвание преподавателя.

В рамках обеих степеней каждый всегда может обращаться к некоторой определенной ветви реального знания, на котором он преимущественно хотел бы основываться; поэтому и кроме философов в более узком смысле преимущественное положение в качестве судящих могли бы занимать те, кто разрабатывает эту ветвь, причем это было бы наиболее желательным, ведь в результате ни одна область не оставалась бы тогда закрытой для принимаемого в союз; во всяком случае, однако, должно быть так, чтобы тот, кто по-

лучал бы звание доктора, тому присуждалась бы степень доктора философии как таковая, без какого-то приложения к ней, которая бы указывала на некоторую отдельную дисциплину. Ведь тот факультет, который преимущественно и репрезентирует единство всех наук, которые без него со всех своих сторон во многом оставались бы во мраке, должен и в своих торжественных деяниях определенным образом выражать это единство. Присуждать степени докторов истории или эстетики было бы чуждым для науки и смехотворным, и если это и будет произвольно введено, то не обретет постоянства и не утвердится в истории.

При этом повсеместный обычай использования латинского языка во всех этих действиях и предметах не представляется существенным, а лишь отвечает прежнему грубому и ненаучному состоянию нашего языка.

Конечно, поскольку большинство при этом состоянии ощущали бы искушение к разнообразным фальсификациям, такое образование немало способствовало тому, чтобы ученое звание получило свою добрую славу. Но чем дальше мы продвигаемся, тем больше, конечно же, этот давно завершивший свое развитие язык должен показать нам свою непригодность для изложения научных идей – за исключением филологической, и возможно, математической области.

Какой выигрыш должны мы получить от того, что то, что превосходно может быть сказано на немецком, посредственно выражается на языке римском? Доста-

точно и того, что помимо этих областей римский язык в чистой и возвышенной форме являет нам себя по таким общественно-значимым поводам, которые требуют в большей степени популярного и прекрасного, нежели научного и основательного изложения, а также там, где оратор по своему желанию углубляется в область античного образа мыслей и воззрений.

Примерно так образуются ученые звания, рассматриваемые исключительно исходя из точки зрения научного союза. Но на что же должно здесь обратить внимание государство, или вообще ничего не учитывать? Оно все-таки связывает себя с научным объединением и осуществляет заботу о нем или же подчиняет его основанным им самим учебным учреждениям, чтобы естественным образом находить сведущих и высокообразованных мужей для задач, в которых оно испытывает потребности.

Но согласуется ли это с тем, что оно не доверяет суждению этого союза и не направляет свою деятельность в соответствии с ним? Можно различать между более низким служением государству и более высоким? То, хорошо ли, что предназначенные для более высокой области поначалу все-таки долгое время влачат существование на более низкой ступени; и то, насколько правильно мнение, что лишь тот, кто достаточно долго осуществлял более низкую службу, может быть достаточно искусен и для более высокой, — все это не может быть здесь исследовано; но

различия в деловых качествах являются очевидными и хорошо известными. На более низкой ступени государственной службы есть достойная область, которая требует знаний научного рода.

Если университет выдает отдельному человеку от имени научного союза свидетельство о том, что он обладает этими сведениями, то я не знаю, какой смысл тогда должен иметь еще и экзамен, который государство назначает чиновнику; и если оно полагается лишь на последнее свидетельство, то нельзя понять того, зачем тогда оно требует обязательного посещения университета.

Этот дополнительный экзамен вовсе не должен был бы свидетельствовать о квалификации отдельного человека, а нужен был бы лишь для того, чтобы узнать о том, для каких задач особенно подходит данный человек, и о том, каким количеством из малого числа тех навыков и наблюдений он уже обладает, которые, во всяком случае могут быть получены лишь благодаря упражнению.

Для более высокой службы он нуждается не только в этой массе благоприобретенных сведений, но и в способности обозреть целое, в правильном суждении об отношении отдельных частей, в сформированной все-сторонне комбинаторной способности, в богатстве идей и вспомогательных средств. Если все это упорядочено и внушает доверие, то тот, кто славится этим даром, должен быть допущен в святилище науки. Поэтому и от-

крывает государство это святилище своим будущим слугам и лишь из него стремится их набирать.

Если же свидетельства научных учреждений, выданные целесообразно и строго, не являются здесь самым главным, то на что же тогда опирается государство? То предубеждение, будто кому-либо благородного происхождения или вообще классу, притязающему на более высокие задачи, едва ли приличествует принимать ученую степень, и он уже сам исключает себя из этих дел и обречен оставаться в школьной пыли, — едва ли может быть оправдано и должно исчезнуть, если государство и университет понимают себя самих и друг друга.

Напротив, более высокая государственная служба как раз только и должна быть открыта этим людям; именно те, кто, обладая таким благородным достоинством, выбирает исключительно политическую карьеру, должны надеяться быть поставленными управлять высшими задачами, а тех, кто в облачении достоинства преподавателей посвящают себя преимущественно наукам, государство должно уметь использовать в качестве смотрителя, советника во всем, что подпадает под их особенный предмет.

И все-таки такое изменение в современной практике университеты должны были бы подготовить сами; они должны оживить свои божественные формы, им более не следует играть со званиями, которыми они наделяют, и злоупотреблять ими, сводя их к пустым названиям.

Приложение

О НЕОБХОДИМОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Утверждают, что прусское государство – даже и в его уменьшившемся объеме – ощущает потребность заменить утерянный ныне бывший Университет Фридриха на некоторый другой, учрежденный наново, и поговаривают, будто уже решено учредить его в Берлине. Предложенные мысли большей частью пишутся и публикуются как раз теперь в этой связи, и они не выполнили бы своей цели, если по меньшей мере кое-что не было бы добавлено в приложении к данному случаю.

Ощущение, которое порождает этот проект, конечно, весьма положительное и требует к себе внимания. Это доказывает, что Пруссия не только не отказалась от призвания, – которое она столь долго в себе упражняла, – позитивно воздействовать на образование высшего духа и именно в нем искать своей власти, но, напротив, желает начать сначала; это, далее, совершенно определенно доказывает, – и это, пожалуй, является не менее многоценным, – что Пруссия не хочет изоляции, но стремится в этом отношении

оставаться в живой связи со всей целостной естественной Германией.

Она уже имеет два провинциальных университета. Кенигсберг – для немцев за пределами Пруссии, или, напротив, – для северных немцев, ведь ни в какой связи нельзя сказать, что собственно (Восточная. – *Пер.*) Пруссия была бы менее немецкой, нежели Бранденбург; Франкфуртский же университет – для южных провинций. Но оба эти учреждения по своей природе не способны на что-то большее.

Франкфурт к тому же слишком далек для того, чтобы привлекать к себе иностранцев, что для большого университета имеет непреходящее значение; и для того, чтобы сдерживать предрасположенность к чрезмерновычурному интеллектуальному существованию, которая так сильно поражает в собственно Пруссии и которую можно обнаружить и в королевских саксонских университетах. Франкфурт был хорош лишь как миссионерское учреждение для поляков, о которых теперь Пруссия, надеюсь, будет меньше заботиться.

Чтобы повысить свое значение, университет также должен создаваться совершенно по-новому, да и зачем государство должно расточать силы, которые для этого необходимы, в плохо расположенном месте и ради преобразований очевидно второстепенного и во многих отношениях дурного учреждения, что непременно оказывается столь же неблагодарной, сколь и

трудной работой, в то время как с практически равным напряжением оно способно возвести новое?

Но почему же именно в Берлине? Потсдам, правда, вряд ли придет на ум сведущему человеку, ведь университет в небольшом городке в непосредственной близости с самыми привилегированными военными и двором, который обязательно будет сообщать все мелочи, и вблизи столицы – это было бы самая удивительная мысль из тех, что могут прийти в голову.

Бранденбург, однако, и Хавельберг – это города средней величины и ближе к границе, а значит, они удобно расположены для иностранцев и обладают возможностью постепенного привлечения больших фондов на благо университета, – такого рода города любому покажутся более предпочтительными, нежели Берлин.

Но не следует ли привести и преимущества такого необычного выбора, которые предоставляет исключительно Берлин? Их, правда, легко увидеть, поскольку здесь находится богатейшее в прусских государствах сосредоточие учености, талантов, всевозможных выражений искусства; поскольку он вбирает в себя многие институты, которые поддерживают университет и благодаря связи с ним в свою очередь способны приобрести новый блеск или более высокий характер; поскольку одновременно он предлагает и самые высокие формы образовательной жизни, и высшие достоинства, к которым способен подняться активный юноша в каждом научном предмете и которые непосред-

ственно предстают перед его взором. Ведь это такие преимущества, которых всегда были лишены все те университеты, что принесли основную пользу науке и государству.

Но и Берлин в качестве такого учреждения имеет очевидные недостатки, проистекающие из обширности города, дороговизны в удовлетворении нужд, легкости развлечений, разнообразия терзающих искушений, протирания штанов (*Ofensitzerei*) многими юношами, которые здесь воспитывались уже в школе, и здесь опять же учатся в университете и тут же рекрутируются в управление; собственно, можно сказать, что со всех сторон должны с необходимостью появляться недостатки, которые особенно легко бросаются в глаза широкой публике и которые затруднили завоевание доверия к этому новому учреждению, которое и без того должно было бы сражаться с разнообразными проявлениями зависти.

Итак, пришел ли как раз теперь тот момент, когда ради тех преимуществ, скорее, относящихся к блеску университета, чем к сущности, стоило бы отважиться вступить в столь сомнительную борьбу с указанными недостатками? Ведь тот, кто несет столь значимые убытки, тот уже не может легкомысленно спекулировать, но должен для поднятия кредита открыть новое надежное предприятие.

Уже при прежнем правительстве, в период, когда Прусское государство вообще не имело потребностей

в учреждении нового университета, одним весьма образованным писателем, который одновременно обучал принца и руководил театральными постановками, был составлен план создания большого учебного заведения в Берлине, которое не являлось собственно университетом и все же должно было оказывать университетские услуги. В этом проекте не было недостатка в изяществе и великолепии, как и в придворной изысканности. Между тем проект этот не был осуществлен, если не рассматривать возникшие к этому времени две специальные школы как попытку – такими отдельными частями этого целого – положить начало университету; и все же едва ли можно было здесь рассчитывать на центр и его живую силу, которые лишь приводили к пограничным конфликтам с существующими университетами.

Главным, без сомнения, было стремление постепенно подорвать готическую форму и цеховое устройство старых университетов, в особенности же – искоренить так называемый студенческий дух, который эти робкие люди полагали в высшей степени пугающим и губительным. Такие доморощенные образовательные опыты, где определенная потребность естественным образом еще не рождала соответствующих мер и где не формировалось полноценное воззрение на реформы в виде знаний о том, как благое по своей сущности начинание и нынешние злоупотребления сталкиваются друг с другом, как и о том, на чем

и то и другое основывается, – всегда останутся сомнительным делом.

Тот, у кого есть время и сила и кто не устрашится играть и с важными вещами, тот мог бы на это отважиться. Но разве можно поверить, что мудрое правительство в настоящих обстоятельствах одобрит таким образом возникший план, автор которого не блещет особенно своим зрелым пониманием строго научной области, но, напротив, дискредитирует себя односторонней популяризацией этого предмета и главным намерением которого было подорвать тот дух, который – при возможном искоренении его перегибов и извращенных выражений – теперь, больше чем когда-либо, следует пытаться тщательно сохранить как средство единения лучшей части будущего поколения и охранения подлинно чувства отечества?

Конечно, мы не можем этого ожидать, и в особенности потому, что и этот метод в целом, состоящий в том, чтобы вырвать реальные науки из их связанности с философией и либо основывать их на произвольной теории, либо стремиться к превращению их в чистую эмпирию, – давно уже отжил свое.

Видимо, – чтобы объяснить подобный выбор места нового университета, если в Берлине все-таки он не найдет существенно лучшего положения, чем где-то еще, – не остается ничего другого, как указать на явную необходимость того, почему он вообще может существовать только в Берлине; и это легко показать.

Ведь если бы прямо сейчас он и был основан и начал свою деятельность и если бы его положение и вправду было бы таким, что при таком болезненном начале он не смог бы обещать долгой жизни, в любом случае ни в каком-то другом месте он бы не нашел все те средства вспомоществования, которые необходимы для процветания университета. Ведь если бы он и получил там в избытке финансовую помощь, то библиотеки, собрания древних памятников, ботанические сады, анатомические, минералогические и зоологические кабинеты невозможно создать в одно мгновение; и как в наши дни мог бы превосходный университет представить себя публике, если этот важный атрибут превосходства у него как раз и отсутствует?

Это, конечно же, является столь очевидной причиной, что можно уже и не искать никакой другой.

Если, следовательно, университет должен жить в Берлине не ради какой-то особенной роскоши и великолепия, но лишь ради того, чтобы суметь начать свою непосредственную жизнь и быстро развиваться, то необходимые для этого меры, кажется, должны взаимно упорядочиваться так, чтобы прежде всего озаботились бы тем, что необходимо университету для самостоятельного существования; затем подумали бы о том, как бы избежать тех особенных изъянов, угроза которых в особенности проистекает именно из Берлина; и лишь после всего этого и в той мере, в какой это более необходимое уже не страдало от указанных

изъянов, можно было бы начать рассмотрение и того, как можно теперь правильно использовать те особенные преимущества, которые предлагает Берлин.

Что касается самого первого, то, прежде всего, уже то, в каком виде искомые и необходимые средства вспомоществования наличествуют в Берлине, кажется, не благоприятствует независимости университета, если только не желать подчиниться власти или входить в строение других учреждений, а это, в свою очередь, вызвало бы ее ненависть. Там, где университет не должен использовать ничего другого, кроме того, что вообще разрешено квалифицированной публике, там он и действительно должен рассматриваться лишь как ее умножение, и трудностей не возникает.

Так, что касается библиотеки, то у учащихся должны быть особые читальные залы в университетском здании и книги из библиотеки должны поступать туда всякий раз на имя некоторого профессора или вообще — университета. Однако постепенно нужно, конечно, начинать думать и о собственной подручной библиотеке, состоящей из наиболее важных трудов, которые чаще всего запрашивают и которые нужны остальной публике и не могут долго отсутствовать в Королевской библиотеке.

В других институтах лучшим выходом из положения могло быть назначение ее настоящих смотрителей профессорами их науки при этом университете, и, действительно разве можно желать лучшего, нежели

найти такого, как *Вильденов* для ботаники, и такого, как *Карстен* для минералогии?

Но это все-таки не всегда может помочь, особенно если наряду с университетом есть Горная Академия и Медицинско-Хирургический Коллегиум; в этих условиях либо у университета, либо у обеих этих корпораций, которые находятся под совершенно другим надзором и имеют совершенно другое предназначение, связаны руки относительно их будущего; отчасти, это противоречит подлинному духу университета, тому, что лишь он *один* должен иметь исключительные полномочия или быть предназначен к тому, чтобы учить науке.

Здесь и возникает пусть сложная, но все-таки не неразрешимая задача – создать проект инструкций и предоставить гарантии того, что университет не откажется ни от чего, что требует его сущностная природа, и все определенные прошлые права сохранились бы за ним, насколько это возможно. Нечто похожее могло бы иметь место с намерением основать анатомический кабинет и ветеринарную школу, хотя последняя, пожалуй, легче всего и с выгодой для себя могла бы быть некоторым образом объединена с университетом.

И все-таки не только в отношении средств вспомоществования, но и в отношении к личностям преподавателей и учащихся стоит задача, которую можно и не решить: в самом начале гарантировать универси-

тету его независимость. В особенности, если, например, составлять преподавательский персонал, пусть не исключительно, но преимущественно, из таких ученых, которые живут в Берлине в каких-то других условиях жизни, то они вполне могут оказаться людьми, мало озабоченными свободным существованием университета.

Известно, как захватывает деловая жизнь, в особенности если она точно расписана и изощренно разработана, и ученые, однажды вжившиеся в нее, свое назначение в университет будут неизменно рассматривать лишь как второстепенное дело, не многим отличающееся от лекций, читать которые они приучены уже теперь.

Сюда же добавляется то, что по причине других своих обязанностей они ограничены во времени, распорядок которого который не очень-то совместим с естественным порядком жизни учащихся юношей.

То же самое относится и к тем, кто назначаются в более высокие или особенные школы в качестве преподавателей и сверх того должны усваивать еще две совершенно различные методики преподавания, что может оказаться труднее, чем это полагают. Университет не должен зависеть от таких коллизий; и вообще, если университет становится для большинства преподавателей лишь второстепенным делом, то вскоре станет он таковым и для учеников; и вопреки всем тем превосходным вещам, которые университет

в себе объединяет, он обнаружил бы в этом случае мало доверия и мало бы его заслуживал, ибо в скором времени стал бы напоминать лишь известные административные коллегии, при которых тоже никогда нет недостатка в превосходных мужах и на которые все-таки всегда жалуются и именно потому, что и для всех этих мужей они являются лишь второстепенным делом.

Конечно, совершенно необходимым является назначение преподавателей, которые не занимаются ничем иным, кроме ученого ремесла, и не видят необходимости претендовать на какое-то другое, в наименьшей же степени – административное, и которые одновременно уже имели практику в качестве университетских преподавателей и заслужили здесь признание, – причем их нужно набирать в таком количестве, чтобы самое существенное на всяком факультете могло быть выполнено уже благодаря им одним. И лишь в этом случае можно будет заявить, что университет стоит на крепких ногах.

Наконец, университет не должен – и в настоящих условиях меньше всего – зависеть от благополучия родителей, которые полагают, что имеют достаточно средств для обеспечения своих сыновей во время их пребывания в Берлине. Этим путем университет получил бы лишь небольшое количество утонченных и знатных или заносчивых и не особенно прилежных учащихся, большей части которых преподаватели, которые добросовестно занимаются наукой, не смогли бы привить достаточно желания и любви к ней.

Еще ни один университет не обходился без фонда поддержки, таковой должен быть создан в особенности для Берлина. Если он будет управляться согласно составленным выше принципам, то отпадет и озабоченность тем, что таковая поддержка будет приманивать лишь неумелых и невоспитанных бедняков.

Особенно целесообразным, однако, было бы для Берлина то, что такая поддержка выражалась бы ни в наличных деньгах, а в бесплатном и одновременно почетном покрытии существенных потребностей: в жилье, питании, отоплении. Благодаря этому было бы легче привлечь частное богатство к тому, чтобы и оно участвовало в этой поддержке.

Правда, надо не только заботиться о настоящих потребностях, но и что-то сделать в связи с — чаще всего необоснованным — страхом чужеземцев перед безмерной дороговизной в Берлине. Этому, конечно, уже во многом способствует надежда, что всякий прилежный учащийся, а не только беднейший, может обратиться к общественной поддержке.

Далее надо позаботиться о том, чтобы какая-та из общественных властей, по меньшей мере на начальном этапе, взяла на себя посредничество между учащимися и владельцами домов и столовых в деле заключения дешевых контрактов и в том, чтобы различные цены, которые они устанавливают, обнародовались надлежащим образом с тем, чтобы каждый мог быть уверенным в том, что сможет быстро и легко найти то,

что соразмерно его имущественному положению. Нужно воспрепятствовать еще и тому, чтобы слишком увеличивалось количество уроков, преподаваемых студентами для облегчения своего положения. В Берлине, правда, этот порок процветает больше, чем где бы то ни было. Лучше всего было бы этому воспрепятствовать благодаря мерам, которые исходили бы не из университета, но от органов, которым вменяется в обязанности надзор за обучением в целом.

Что касается развлечений, то в целом эти разнообразные поводы ко всяческим развлечениям нужно было бы рассмотреть среди пороков, которых прежде всего и следует опасаться в Берлине. Но и они не являются уж очень большим злом, как об этом иногда полагают.

Достопримечательности самого города и его окрестностей и все, что понимается под именем диковинного, является опасным лишь в силу его новизне, а значит, лишь в первое время. Естественно, если университет будет сосредоточен в одной части города, и при этом, возможно, не в самой блестящей, каковым является центр, то самый прилежный ученик легче сможет игнорировать то, что происходит в других частях города. Прежде всего, однако, увеселений и празднеств, и на вершине всего этого – театральных и музыкальных постановок, которые требуют много издержек, поскольку стоят времени, как раз можно опасаться в меньшей степени, и именно ввиду больших расходов на них. Если же учащийся будет долгое

время оставлять непокрытыми свои необходимые потребности и большую часть своих поступлений расточать на такого рода развлечения, то скоро будет он доведен до весьма жалкого состояния.

И этого, конечно же, можно достичь, если только действительно найдут применение законы о кредитах в отношении несовершеннолетних. И действительно, достичь этого в Берлине легче, чем в любом другом месте, поскольку здесь ни один класс горожан не испытывает необходимости жить почти исключительно за счет студентов и, следовательно, соперничать за их благосклонность.

Но также будут больше остерегаться не совсем почетных долгов все те молодые люди, которые, покидая университет, не ускользнут от своих кредиторов, но останутся в Берлине, чтобы здесь искать свое первое назначение, и благодаря этому установится господство более серьезных взглядов на эти вещи.

Но лишь бы не возникала злосчастная идея комиссии по платежам! Ведь все уже убедились в том, насколько, по всем собранным сведениям, плохо все это организовано. И нет ничего в мире, что бы больше противоречило сущности университета.

Если образование характера поступательно развивается соразмерно образованию научного духа; если юноша познает меру и соотношение своих склонностей, то должен он обладать и свободой в том числе и в своих расходах вводить то одни, то другие прямо противопо-

ложные пропорции; он должен познавать как удобства, так и опасности упорядоченности или беспорядочности и всего того, что к этому относится, с тем, чтобы, вступив в деятельную жизнь, не оказался бы неопытным, но представал бы умудренным мужем, который уверен в правильности своего собственного образа жизни.

Эта свобода является необходимой, пусть и всегда будут иметь место отдельные случаи злоупотребления ею; но последние случаются ведь и в более поздние периоды жизни, и было бы пагубным такое положение, — и дурным было бы обращение к правительству по всякому поводу, — когда бы нам ничего не оставалось, кроме как отказываться от необходимейшего блага ради искоренения подобных злоупотреблений.

Разве наше законодательство и полиция не должны здесь, как ни в одной другой области, преуспеть настолько, чтобы выполнить чистую задачу возможно большего ограничения злоупотребления без того, чтобы пожертвовать существенными преимуществами свободы?

То же самое относится, пожалуй, и к необузданностям, в особенности, полового влечения и страсти к игре, от которых со страхом ожидают несказанных несчастий для университета, который был бы образован в Берлине. И, правда, это опасные рифы. Но только не более опасные в Берлине, чем в любом другом месте.

И всегда, покуда Берлин останется столицей и совсем не отречется от своего прежнего характера, бу-

дут там находиться многие молодые люди, более богатые и склонные к более роскошным забавам, чем учащиеся, и поэтому те классы, которые живут за счет безнравственности молодежи, будут преследовать в большей степени первых, нежели на вторых.

Напротив, в городах поменьше студенты представляют собой почти всю молодежь, на которую обращают внимание и направляют исключительно на нее все искусство оболъщения; обстоятельство, благодаря которому это различие между городами должно быть тщательно взвешено; и как бы ни выглядело в некоторой резиденции всякое зло более блестящим и более соблазнительным, чем в других местах, но все-таки то, что является самым изысканным и самым блестящим в этом роде, очень быстро превосходит денежные возможности студента, который по своей природе повсеместно ведет свободный образ жизни.

Поэтому в данном отношении имеет место лишь двоякая необходимость. С одной стороны, следует усилить бдительность полиции по отношению ко всем соблазнительным учреждениям, чтобы они, например, следовали закону, который сейчас никто не смеет и провозгласить, о том, чтобы с большей строгостью исполнять их столь часто игнорируемое право в отношении игровых домов, если там обнаружатся студенты; чтобы, далее, публично обсуждать, почему вообще не принимаются жалобы по делам, связанным с развратом,

против известного класса молодых людей, в который естественным образом попадают и студенты.

В этом случае, однако, должно осуществляться все возможное, чтобы оберегать студентов от более низкого рода общения и удовольствия и поддерживать среди них в этом отношении строгие понятия о чести. Если же оставлять им лишь низкие общение и развлечения, предадутся они тогда и нижайшим видам соблазна и затем с необходимостью потеряют свой облик.

Оба предложения связаны с двумя важными вопросами, которые мы не можем оставить непроясненными; первый из них – о том, какому начальству должны подчиняться студенты. Другой же – о том, как студентов должно трактовать в обществе.

Что касается первого, то теперь нет никого, кто бы ни осознавал нецелесообразность собственных университетских судов, и можно сказать, что уже долгое время эта нецелесообразность особенно ощущалась в прусских университетах. Нас увело бы слишком далеко историческое освещение этого вопроса и демонстрация того, насколько современные условия отличаются от тех, в которых это учреждение первоначально создавалось.

С другой стороны, должно, правда, существовать некое средство предостережения для опасных субъектов и даже их удаления, даже если они пока еще не совершили ничего такого, что бы повлекло жесткое преследование со стороны судов обычных.

Поэтому, видимо, следует связать оба момента. Во всем, что квалифицируется как судебная жалоба, студенты подчиняются обычным властям; но одновременно должна наличествовать и дисциплинарная комиссия, составляемая из руководителей университета, которая не только могла бы накладывать некоторые штрафы в качестве полицейских мер воздействия и даже исключать студентов из университета, но и от которой зависели бы сами власти в делах о жалобах некоторого рода, которые бы, надлежащим образом рассмотренные, отсылались бы в университет и затем публиковались бы и исполнялись по авторитетному решению этой комиссии.

Тот, кто тщательно продумает эти меры, увидит, как благодаря им можно с легкостью устранить множество трудностей. Лишь пока продолжает существование разносословная подсудность, начальство над студентами не может не являться начальством над экзимирированными (от *exito* – *исключаю*, пер.).

Таковым является преподавательское начальство, и в основном оно составляет форум сословия, к которому они приближаются. И уже поэтому не может быть иначе, что и студенты-дворяне не могут оспаривать его прерогативы, и среди самих студентов должны быть искоренены, насколько это возможно, всякие следы сословных различий.

Что же касается второго вопроса об отношении к студентам со стороны общества, то здесь, конечно,

речь должна идти не столько о том, что должно иметь место, сколько о том, что, вероятнее всего, будет иметь место и в соответствии с чем и следует пытаться направить общественное мнение. Многие озабочены тем, что студент будет чувствовать себя в Берлине чрезвычайно одиноким и представлять несчастным, совсем незначимым человеком, что было бы действительно большим минусом. Однако разве всякий хороший преподаватель не считает своим долгом вовлекать своих более отличившихся учеников в свой общественный круг и тем самым доказывать свое уважение и близкое участие? Разве не получают многие студенты рекомендации от своих родителей к их знакомым?

Обо всех них в этом отношении проявляется достаточно заботы, и, напротив, учитывая подвижность берлинского общества, лишь следует опасаться, что возникнет чересчур много возможностей примкнуть к общественным развлечениям и что благодаря многочисленным и ранним близким контактам с обществом и укоренившимся в нем нравам может быть утерян характер студенческой свободы и ее благотворное воздействие.

С другой стороны, эти общественные связи не могли бы быть всеобщими; те, кто получил здесь предпочтение, легко отделились бы от своих товарищей, а оставленные вниманием именно благодаря этому либо оказались бы совершенно изолированными, либо

выискивали бы общества менее влиятельные и более низкого рода. Поэтому в Берлине было очень важно способствовать развитию студенческого братства, где и найдет свое место подлинный и свободный стиль жизнь, а также дух их собственного сообщества; важно заставлять их ощутить, что уже как студенты, как именно те, на кого возложены важнейшие надежды отечества, они уже получают известную степень общественного уважения и внимания, которых они должны быть достойны; и поэтому является целесообразным, что к земляческим связям, которые будут образовываться тем надежнее, если их целостность будет составлять характер университета и гимнастические упражнения будут в порядке вещей, станут относиться с терпением и умно ими управлять; чтобы не запрещался всякий способ выделиться внешне и чтобы позволялось в известных условиях публичное и почетное появление и представление студентов в качестве корпорации. Таким образом лучше всего можно было бы установить правильную температуру во всем их отношении к остальному обществу.

Благодаря тому что таким образом защищается и сохраняется своеобразный дух университета и так необходимая студенческая свобода, одновременно в какой-то степени исчезают дурные следствия того, что всегда значительная часть молодежи не изменяет своего местопребывания и находится в стенах универси-

тета, как и в стенах школы, продолжая жить в отчем доме. Ведь, чтобы получить уважение, которое вызывается принадлежностью к корпорации, они должны держаться в ее рамках, и легко вызываемая насмешка над теми, кто и в свой университетский период желает остаться исключительно при своей семье, неотделима от подлинного студенческого чувства, способного свободно развиваться.

И превращение общественной поддержки в предоставление питания и приюта вносит некоторый вклад в то, чтобы вырвать отдельного человека из ограничивающей его семейной жизни, и поэтому следует придать такой характер всем бенефициям, предназначенным берлинцам.

Если же первоначальные учреждения в целом были утверждены именно в указанном смысле – так, чтобы гарантировать независимое существование университета и по возможности ограничивать изъятия, которые могут быть вызваны его расположением в Берлине, – если и только если все существенное будет сохранено именно так, – то можно задать вопрос и о том, как самым лучшим образом можно использовать те особые преимущества, которые предоставляет Берлин.

Прежде всего, бесспорно то, что Берлин есть место, в котором, даже и в будущем, чрезвычайно легко обеспечить университет преподавателями доцентами, за исключением собственно спекулятивной дисци-

плины, которую, вероятно, было бы полезно заимствовать извне.

Что же касается других ветвей, то выше уже подробно разбиралось то, как у ряда закончивших свое первое научное образование, появляется нерешительность относительно того, обладают ли они большим талантом и способны ли приложить свои умственные способности и образ мыслей в делах управления или же на учебной кафедре. В иных местах этот выбор делается весьма поспешно или же решение принимается лишь в соответствии с внешними обстоятельствами. И однажды сделанный выбор оказывается, чаще всего, необратимым. Однако в некотором месте, которое объединяет в себе одновременно и центр управления, и университет, всякий человек имеет возможность пройти достаточную экзаменационную проверку. Он способен открыть обе двери и довольно долго стоит перед обеими, пока его собственный внутренний раскол не заставит его принять убедительное решение, и тогда одно возвысит его талант как нечто более значимое над другим.

И даже самые коротенькие цветения преподавательского таланта не должны пропасть в подобном месте: и в том, кто, – если только однажды пропитал его научный дух – возможно, где-то посреди выполнения своих управленческих задач вдруг настолько разовьет в себе такую своеобразную идею, что почувствует, что он мог бы создать о ней ясное, радикальное и воодушевляющие

представление; и в том, кто в ходе своих второстепенных для него научных занятий мог бы развивать некоторую отдельную ветвь, убеждая всех, что его открытия или его своеобразные методы можно с пользой применить на кафедре, которая сможет их освоить.

Мы также часто замечали, – в особенности у тех, кто в качестве преподавателей занимают историческую сторону здания науки, – как начинают отцветать прошлые таланты университетского преподавания и склонность к практическому и политическому применению науки вновь брала верх. Нигде такое естественное превращение не может осуществляться мягче, легче и через постепенный переход, нежели в столице, так что, с одной стороны, последние еще сохраняют способности продолжать использовать и выражать свой дар обучения, а с другой стороны, ни один из тех, желание и сила которых уже не прилагаются к университету, где он не сможет найти свое подлинное место, не станет для университета бесполезным бременем.

Этого преимущества, однако, можно достичь лишь в той мере, в какой государство признает, что тот, кто жил наукой и проникнут ее идеями, так же способен мгновенно постигать необходимые эмпирические частности, может легко перерабатывать их в знания о предметах и благодаря своему более высокому таланту продолжит период своей службы; лишь в той мере, в какой он в организации всего своего управления позволяет

сильнее проступить ранее существенному различию между малозначимым служением и службой более важной; лишь в той мере, в какой распределение ученых званий, неизбежно квалифицирующих как начинающих университетских преподавателей, так и тех, кто желает поступить на высокую государственную службу, может быть укреплено на таком основании, что они снова могут вернуть себе всеобщее доверие, и потеряет всякую пищу тот предрассудок, что тот, кто занимается наукой, тот одновременно демонстрирует свою неспособность и нежелание заниматься настоящим делом.

В этом случае университет в Берлине в отличие от всех других мог бы иметь то преимущество, что получал бы всегда и исключительно свежих, энергичных, увлеченных преподаванием учителей в правильном соотношении с учащейся молодежью.

Университет, далее, мог бы показать себя с выдающейся стороны благодаря изобилию преподавателей наиболее редких специальностей и технических дисциплин, чрезвычайно удаленных от центральных областей познания. Прежде всего стоит здесь вспомнить об уже существующих в Берлине специальных школах, хирургической школе, строительной школе, школе горного дела; ведь мы не желаем называть их академиями, где преподавание вплоть до самых мельчайших деталей внешнего аппарата и умений обращаться со вспомогательными средствами направлено

на конкретные науки, преподавание, которое собственно для учащегося должно быть открытым с тем, чтобы он мог бы себя испытать и до некоторой степени образовывать, а также познакомился бы с внешней стороной научной области.

Некоторым скорее случайным и неоднозначным образом эти заведения могли бы оказаться полезными для университета, если бы только задействованные в них преподаватели получили разрешение на то, чтобы преподавать существенные для их учреждения дисциплины также и в университете.

Можно создать и нечто более значительное, если эти учебные заведения как-то объединить с университетом. Теперь они пользуются особым уважением. Наряду с предметом, которому они были посвящены изначально, они получают и преподавателей всеобщих дисциплин, что удивительным образом выделит эти находящиеся вблизи университета учреждения.

Возможно, следует их поделить на две части; одна из них была бы школой и работала бы с теми, кто посвятил себя данному предмету, не стремясь при этом к научному образованию. Другая, более высокая часть объединилась бы с университетом; ее воспитанниками были бы студенты в полном смысле этого слова, а учителями – профессора, а само преподавание входило бы в преподавание университетское. Более низкие классы могли бы также вступать во взаимодей-

стве с учеными школами, а последние – благодаря таким посредническим звеньям – входили бы в более близкую общность с самим университетом, так что обе части, не лишая себя в чем-то их своеобразности, все-таки снова могли бы рассматриваться как некоторое целое; и столица и в этом отношении могла бы продемонстрировать самый явный чувственный образ единобытия всех частей в их целостности.

То же самое, с другой стороны, наконец, могло бы быть осуществлено и в отношении к академиям наук. Между ними и университетом, как мы уже увидели, существует естественная общность; преподаватель университета работает, постепенно переводя сюда результаты работы в академии, и у большей части сотрудников академии остается еще время, которое им хочется посвятить исполнению отдельных функций университетского преподавателя.

Эта общность могла бы здесь организовываться в высшей степени желательным способом, и как раз, исключая положение, когда оба учреждения оказались бы формально едиными и перестали бы выражать им одним свойственным образом своеобразность своей цели и сущности, но лишь так, чтобы через те отдельные вещи, которые по праву принадлежат им обоим, постепенно и на всю жизнь осуществлялись бы переход и дружеская связь обоих ученых заведений, в которой они в свою очередь наглядно представляли бы единство всех научных организаций.

Эти влияния, которые мы приписали академии и ее сотрудникам, и необходимая для нее повсеместно и неограниченно оберегаемая свобода самообновления, в достаточной степени защищают от того странного воззрения, будто академия есть лишь учреждение для приема отживших свое профессоров; напротив, в научной республике они рассматриваются исключительно как досточтимое собрание старейшин.

Однако и университет, обращая свой поиск то к этой, то к вышеуказанной связи, не должен представлять в качестве предпринимающего это, исходя из односторонней потребности, как будто бы без этих опор он бы оскудел и обрел неприглядный вид; так как будто бы эти учреждения должны пожертвовать от своей независимости на благо университета. Напротив, и они должны выступать как независимые и самостоятельные, а их связь должна являть собой сближение, желаемое всем тремя составляющими. Ведь то, что может быть отвоевано в этой области, конечно же, никогда не принесет пользы, если это будет несправедливым имуществом. Поэтому, если не желать все испортить, не следует думать вначале ни о чем другом, кроме того, чтобы учредить университет, который, насколько это возможно, существовал бы сам по себе.

И даже, чтобы более четко показать, что не представление об этих будущих преимуществах требует наличия университета в Берлине, но давление момента, чаще всего объясняют, будто он лишь временно

должен там разместиться, собрать силы с тем, чтобы получить все, что ему необходимо.

Если же окажется, что многообразные изъяны Берлина не позволят с собой совладать, то – не позволяя ослепить себя некоторыми преимуществами такого положения – университет переведут в другое место, как можно быстрее. Однако будем надеяться, в этом, наверное, не будет никакой необходимости.

Ведь благодаря заявлениям о подобном решении и поползновениям – при необходимости – в сторону его реализации, университет обретет моральное доверие, и в соответствии с масштабами его независимости сформируется настроение, которое добавится к последнему упомянутому преимуществу.

И так будет учреждена научная организация, которая не имела бы себе подобных и благодаря своей внутренней силе приступит к завоеванию следующей области, выходящей за теперешние границы прусского государства, с целью превращения Берлина в средоточие всякой научной деятельности северной Германии в той степени, в какой там господствует протестантизм, что и с этой стороны придаст будущему предназначению Прусского государства надежное и устойчивое основание.

При наличии такой перспективы должны ведь исчезнуть всякие мелочные предрассудки и опасения и останется лишь пожелать, чтобы правительство, составившее этот проект, поскорее почувствовало в себе силы приступить к его исполнению.

Оглавление

Антоновский А.Ю.

ШЛЕЙЕРМАХЕР

КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФИЛОСОФ НАУКИ 3

1. От сведений к знаниям: к вопросу о прикладной герменевтике 3

2. Социальная философия науки – немецкая версия. Фридрих Шлейермахер и реформа немецкого университета 25

Фридрих Шлейермахер

НЕЧАЯННЫЕ МЫСЛИ О ДУХЕ

НЕМЕЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА 43

Предварение 43

О школах, университетах и академиях 64

Рассмотрение университета в целом 89

О факультетах 110

О нравах университета и о надзоре 144

О наделении учеными званиями 166

Приложение

О НЕОБХОДИМОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

НОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 179

Аннотированный список книг издательства «Канон+»
РООИ «Реабилитация» вы можете найти на сайте

<http://www.kanonplus.ru>

Заказать книги можно, отправив заявку по электронному адресу:
kanonplus@mail.ru

Научное издание

Фридрих ШЛЕЙЕРМАХЕР

**НЕЧАЯННЫЕ МЫСЛИ О ДУХЕ
НЕМЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ**

(с приложением об одном из них –
недавно учрежденном)

Написано в 1808 г.

Впервые опубликовано в 1808 г.

Перевод *А.Ю. Антоновского*

Директор издательства *Божко Ю.В.*
Ответственный за выпуск *Божко Ю.В.*
Художник *Клюйков М.Б.*
Корректор *Жарская С.В.*
Компьютерная верстка *Соколова П.Л.*

Подписано в печать 06.03.2018. Формат 60×84^{1/32}.
Гарнитура Times New Roman. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 6,5. Уч.-изд. л. 6,65. Тираж 1000 экз. Заказ 1646.

Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация»
111672, Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 3, кв. 28.
Тел./факс 8 (495) 702-04-57.
E-mail: kanonplus@mail.ru; Сайт: <http://www.kanonplus.ru>

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59



ИСТОРИЯ
ФИЛОСОФИИ
В ПАМЯТНИКАХ

Ф. Шлейермахер

НЕЧАЯННЫЕ МЫСЛИ О ДУХЕ НЕМЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Книга Ф. Шлейермахера имела исключительное значение для немецкого образования и науки. Она стала той теоретической основой, на которую опирался Вильгельм фон Гумбольдт, предпринявший фактические шаги по учреждению нового реформированного университета (позднее получившего его имя) как прообраза современного немецкого университета и немецкой науки в целом.

В центре его замысла – стремление адаптировать и трансформировать традиционную структуру немецкого университета как одной из средневековых цеховых корпораций к новым политическим условиям общества модерна.

ISBN 978-588373-521-8



9 785883 735218

ИЗДАТЕЛЬСТВО
КАНОН-ПЛЮС